

29810

ПРОТИВ ФАШИЗМА

ОГИЗ • ГАИЗ • 1942



1941-1945

ПРОТИВ ФАШИЗМА

СБОРНИК АНТИФАШИСТСКИХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Составитель
Н. ЗАВАДСКАЯ •

ОГИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АНТИРЕЛИГИОЗНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСК — 1942

В настоящем сборнике собраны отрывки из произведений зарубежных писателей-антифашистов, рисующие дикий произвол и гнет, царящие в фашистской Германии, в частности подавление свободы совести, жесточайшие преследования людей за их религиозные убеждения.

Книга рассчитана на массового читателя.

Редактор Ф. Олещук

Подписано к печати 7 марта 1942 г. А-65242.

2,5 печ. л., Тираж 25 000 экз. Заказ № 1062

Цена 65 коп.

Филиал 1-й образцовой типографии ОГИЗа
РСФСР треста «Полиграфкнига»
Свердловск, ул. Ленина, 47.

ПРЕДИСЛОВИЕ

История человечества не знает более наглых разбойников, чем те, которые лживо именуют себя партией национал-социалистов, а в действительности являются бандой международных разбойников и убийц. «Партия гитлеровцев,— говорит товарищ Сталин,— есть партия империалистов, притом наиболее хищнических и разбойничьих империалистов среди всех империалистов мира». При помощи разбоя эта партия захватила власть в Германии, при помощи разбоя и вероломства она нагло поработила и заставила служить себе народы Европы, при помощи разбоя она стремится к мировому, безраздельному господству.

Все, что было ценного в дофашистской Германии, все, что носило на себе следы культуры, науки, искусства,— все это безжалостно изгнано, истреблено и уничтожено фашистами. Ученые с мировым именем вынуждены покидать родину, университеты и школы в большинстве закрыты, книги выдающихся писателей и мыслителей запрещены, наука объявлена ненужной, разум — вредным, совесть — предрассудком.

Культурная и передовая в прошлом страна за какие-нибудь десять лет фашистского хозяйничания превращена в мрачный застенок. Здесь царит военная муштра, проповедуется нена-

висть ко всему миру, культивируется лозунг «убивать и истреблять».

Только в эпоху глухого средневековья можно было встретиться с тем, что сейчас так пышно расцвело в фашистской Германии: суеверия, мистика, черносотенные, антисемитские погромы и т. д.

В настоящей брошюре собрано несколько отрывков из произведений зарубежных писателей-антифашистов. Лион Фейхтвангер, Вилли Бредель, Бертольд Брехт, Вольфганг Лангхофф и другие художники слова очень образно и красочно рисуют современную фашистскую Германию со всеми ее ужасами, с разгулом террористической гитлеровской шайки, с массовыми хладнокровно совершаемыми убийствами ни в чем неповинных людей, с мучениями бесчисленных жертв кровавого фашизма. Леденеет кровь при чтении этих простых и правдивых рассказов, невольно подымается рука, чтобы нанести удар проклятому фашистскому зверю.

Высосав все соки из германского народа, фашизм в течение целого десятилетия ковал неслыханную, разрушительную военную машину. Она ему была нужна для того, чтобы осуществить свою бредовую идею о мировом господстве, о подчинении «избранной» фашистской Германии всех народов и государств мира. Такую задачу поставил перед своей разбойничьей бандой ее главарь — Адольф Гитлер. Надругавшись над международными договорами и наплевав на свои собственные обязательства, германский фашизм вероломно вторгся в пределы государств Европы и насильственно их оккупировал. Вслед за этим гитлеровский фашизм попытался внезапным нападением разгромить и

Советский Союз, но на этот раз получилась осечка — Советский Союз, сильный своей Красной Армией, своим социально-политическим строем, морально-политическим единством советского народа, поддержанный к тому же такими могущественными демократическими державами, как Англия и США, оказался не по силам гитлеровской банде. Временные территориальные успехи, достигнутые гитлеровцами в результате внезапного нападения на СССР, ослабили немецкую армию, измотали ее, а упорное, героическое сопротивление Красной Армии и рост партизанского движения привели к длительной войне и породили среди фашистов неуверенность в победе. Все это вызывает разложение в рядах немецких солдат и рост недовольства фашизмом как в самой Германии, так и в оккупированных ею странах. Стало ясно, что «не далек тот день, когда Красная Армия своим могучим ударом отбросит озверелых врагов от Ленинграда, очистит от них города и села Белоруссии и Украины, Литвы и Латвии, Эстонии и Карелии, освободит советский Крым» (Сталин) и фашизм — этот гнойник на теле человечества — лопнет под тяжестью содеянных им преступлений.

Одним из таких преступлений являются гнуснейшие издевательства, чинимые фашистами над свободой совести. Фашисты, наряду с ликвидацией таких демократических свобод, как свобода личности, слова, печати, собраний, попытались полностью ликвидировать также и право человека на свободу убеждений, свободу совести. Фашисты требуют, чтобы человек имел только такие убеждения, какие угодны фашизму. Даже верить в бога в фашистской Германии и то разрешается только по-фашистски. Быть христиана-

нином, т. е. католиком, протестантом, православным, в гитлеровской Германии далеко не безопасно. За исповедывание христианской религии верующие систематически подвергаются различным гонениям, преследованиям, ограничениям в правах и даже арестам. Служителей христианской церкви десятками и сотнями сажают в тюрьмы и концентрационные лагеря. Молитвенные дома насильственно закрывают.

В чем же дело? Неужели гитлеровцы являются противниками религии? Неужели они, эти средневековые варвары и мракобесы, носители самых диких предрассудков и суеверий, выступают против религии потому, что защищают науку? Конечно, нет! Это смешно было бы и думать.

Во всем мире только единственная партия твердо стоит на позициях передовой науки и до конца защищает принципы последовательного атеизма, безбожия. Это коммунистическая партия, партия Ленина—Сталина. Только большевики, основываясь на данных подлинной науки, на итогах многовекового опыта человечества, бесстрашно вскрывают лживость всякой религии и ее реакционную роль в классовой освободительной борьбе трудящихся. «Религия — опиум народа», и исходя из этого положения, коммунисты ведут широчайшую антирелигиозную пропаганду в массах.

Но являясь непримиримыми врагами религии, коммунисты никогда не борются с ней насильственными, принудительными мерами. Запреты, гонения в борьбе с религией чужды коммунистической партии. Основной метод преодоления религиозных предрассудков — это метод убеждения, доказательства, метод агита-

ции и пропаганды. Большевики — сторонники полной свободы совести, свободы вероисповеданий и свободы антирелигиозной пропаганды. «В программе социал-демократов имеется пункт о свободе вероисповедания,— писал товарищ Сталин.— По этому пункту любая группа лиц имеет право проповедывать любую религию: католицизм, православие и т. д. Социал-демократия будет бороться против всяких религиозных репрессий, против гонений на православных католиков и протестантов. Значит ли это, что католицизм и протестантизм и т. д. «не идут вразрез с точным смыслом» программы? Нет, не значит. Социал-демократия всегда будет протестовать против гонений на католицизм и протестантизм, она всегда будет защищать право наций исповедывать любую религию, но в то же время она, исходя из правильно понятых интересов пролетариата, будет агитировать и против католицизма, и против протестантизма, и против православия, с тем, чтобы доставить торжество социалистическому мировоззрению. И она будет это делать потому, что протестантизм, католицизм, православие и т. д., без сомнения, «идут вразрез с точным смыслом» программы, т. е. с правильно понятыми интересами пролетариата» (Сталин, Марксизм и национально-колониальный вопрос. Партиздат, 1934 г., стр. 39).

Эта же последовательно-демократическая точка зрения по религиозному вопросу ярко выражена и в Сталинской Конституции, 124 статья которой гласит: «В целях обеспечения за гражданами свободы совести, церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода

антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами».

Ничего похожего на этот величайший демократизм в странах фашизма, конечно, нет и не может быть. Прежде всего фашисты, конечно, ни в какой степени не являются врагами религии, ибо они последователи мертвой, реакционной, идеалистической идеологии, а такая идеология всегда близка религии, всегда порождает мистицизм и чертовщину. Фашисты, как говорит товарищ Сталин, — партия империализма, а империализм для осуществления своих грабительских, разбойничьих целей всегда нуждался и нуждается в различных средствах одурачивания трудящихся, в том числе и в религии.

Господствующие эксплуататорские классы всегда нуждаются в двух функциях — функции попа и функции палача. Палач подавляет протест и возмущение трудящихся насильственными мерами, поп отвлекает их от классовой борьбы уговорами, обманом. А так как в капиталистических странах существует еще немало верующих трудящихся, то и фашисты не могут не учитывать реакционной роли религии и не могут ее не поддерживать.

Известно, что иногда верующие трудящиеся идут даже против своих собственных классовых интересов, когда их ловко обманывают религиозными лозунгами. Есть верующие, которые под влиянием елейных религиозных проповедей, под впечатлением пацифистских призывов поповщины не прочь размякнуть, раскиснуть, забыть о своих боевых задачах, поверить в возможность «мирной и счастливой жизни» в зверином царстве капитализма. Религиозный дурман, как прекрасно показывают в своих произведениях

писатели Ландгоф и Вилли Бредель, наносит огромный вред революционной борьбе трудящихся за свое освобождение. В отрывке из романа Вилли Бределя «Испытание» рассказывается, например, как у заключенного Крейбеля, находящегося в фашистской тюрьме, по мере приближения праздника рождества возникает «странное чувство». Ему хочется почитать библию, спеть религиозные песни, у него на душе возникает какая-то успокоенность и умиротворенность. Такой человек не может быть, конечно, стойким и последовательным борцом со своими угнетателями.

Нелепо было бы думать, следовательно, что фашисты — противники религии. Наоборот, гитлеровцы заинтересованы в сохранении и укреплении религиозных предрассудков, в создании новых религиозных мифов, способных одурачивать трудящихся. Вожак фашистской разбойничьей банды Адольф Гитлер не произносит почти ни одной речи без того, чтобы не помянуть бога и не сослаться на его «святую волю». Он очень часто именуется себя «добрым католиком» и стремится всячески расположить к себе верующих людей. Свой поход против СССР Гитлер, как известно, объявил «крестовым походом».

Если же фашисты все-таки ведут борьбу против религии, то надо помнить, что, во-первых, они ведут ее не против всякой религии, а главным образом против христианства, а во-вторых, ведут эту борьбу не потому, что христианство представляет собой ложное, реакционное, антинаучное мировоззрение, а потому, что христианство, по их мнению, недостаточно реакционно, не вполне подходит для разбойничьих целей фашизма. Борьбу против религии фашисты

ведут, таким образом, не во имя разума и науки, а для насаждения еще более дикой, грубой, реакционной, мракобесной идеологии.

Чем же не удовлетворяет фашистов христианство и почему они с таким остервенением преследуют христианскую церковь и ее служителей? Как и всякая религия, христианство реакционно. Оно учит трудящихся терпеливо переносить страдания на земле, прощать врагам обиды, мириться с капиталистическим гнетом, любить эксплуататоров, не противиться злу насилем и т. д. Добродетели, как видим, весьма выгодные для всякого эксплуататорского, в том числе и фашистского, строя. Однако фашистам кажется этого мало. Христианство, по их мнению, слишком «демократично». Оно, видите ли, обращается со своей проповедью ко всем людям, независимо от расы и национальности, всех считает сыновьями бога, равными перед богом. Фашисты же, опьяненные своей бредовой расовой «теорией», никак не могут мириться с таким «демократизмом». Христианство в качестве одной из важнейших заповедей выдвигает требование «не убий». Фашистам же, этим профессиональным убийцам и бандитам, такая заповедь, конечно, не по вкусу. Кроме того, Христос — этот мифический основатель христианской религии, по евангельским сказаниям, был евреем. Фашисты же, как известно, ярые антисемиты. Естественно, что христианство не может удовлетворить фашистов и стать их официальной государственной религией.

Фашистским хищникам и бандитам нужна такая религия, которая бы полностью соответствовала их разбойничьей программе, т. е. безусловно оправдывала бы все те грабежи, убий-

ства и бандитизм, все то вероломство, коварство, жестокость, все пытки, мучения, которыми так характеризуются фашистские звери. Партии разбойничьего империализма нужна и соответствующая разбойничья религия. Вот почему фашисты пытаются создать себе такую религию.

Учитывая приверженность значительного числа верующих к христианству, фашизм сначала попытался приспособить к своим потребностям эту религию, т. е., попросту говоря, фашизировать ее. Нашлись «богословы», которые после недолгих исторических исследований объявили, что Христос был не евреем, а... арийцем и что богоматьер — тоже арийка. Фашисты поспешили переделать библию и евангелие на фашистский лад и выдать их за книги арийского происхождения.

Нашлись затем и такие «богословы», которые в пылу, очевидно, любви к фюреру, объявили, что говорить сейчас, в XX веке, о Христе вообще старомодно. Христос, де, являлся воплощением бога для своей эпохи, сейчас же таким посланником бога на земле, его сыном является не кто иной, как... Адольф Гитлер. Гитлер и глазом не моргнул: в одном из своих выступлений он сам назвал себя «пророком всевышнего».

Наконец, были предприняты и кое-какие мероприятия по линии административного нажима на церковь с тем, чтобы она быстрее повернулась лицом к фашизму. С благословения Гитлера была создана так называемая «германская церковь», с небезызвестным другом Гитлера, фашистским епископом Мюллером во главе. Однако верующие не поддались на всю эту грязь.

ную стряпню фашистов, несмотря на все гитлеровские преследования и угрозы. Попытки фашизировать христианство вызвали среди населения массовое недовольство, вылившееся местами в беспорядки и демонстрации. Германская церковь не нашла много последователей. Писатель К. Биллингер в рассказе «Воскресные дни в лагере» очень образно рисует отношение немецких верующих к церкви, и в особенности— к фашистским церковникам из лагеря германских христиан.

Учитывая возможный провал своих попыток фашизировать христианство, гитлеровские молодчики озаботились созданием другой религии и в качестве таковой объявили языческий культ бога Вотана. Это божество почиталось древними германцами более двух тысяч лет назад, когда германцы находились еще на очень низкой ступени развития. Наряду с другими божествами Вотан считался покровителем земледелия, торговли, а также главным защитником германцев в многочисленных грабежах и войнах, которые в то время часто ими предпринимались. Вотану, этому кровожадному богу, приносились человеческие жертвы. Фашисты стали усиленно внедрять культ Вотана в массы. Они объявили праздники в честь нового божества, учредили его храмы и т. д. Однако и эта их попытка окончилась полным провалом, ибо смешно в XX столетии, в век электричества и пара, в век величайших достижений науки и техники, пытаться обратить человечество вспять на целых два тысячелетия. Попытка фашизма ввести культ Вотана свидетельствует лишь о том, как низок культурный уровень самих фашистов, так недалеко ушедших от своих прародителей,

и как глубоко зашло загнивание капиталистического мира в эпоху империализма.

Фашистские издевательства над религией вызвали массовые протесты верующих и духовенства. Во многих местах среди населения началось глухое брожение, перешедшее затем в ряде мест в демонстрации, попытки восстаний. Многие из католических ксендзов и протестантских пасторов, многие епископы и архиепископы также стали на сторону верующих. Среди этих служителей религиозного культа были такие, которые весьма робко заявляли о своем несогласии с фашизмом, боясь навлечь на себя гнев гитлеровцев.

Но были и такие, как, например, протестантский священник Мартин Нимеллер или католический капеллан Иозеф Россен, которые бесстрашно бросили фашизму вызов в лицо и открыто призывали массы к неподчинению правящей разбойничьей клике.

Капеллан Россен на фашистском судилище заявил: «В беседах с католиками я всегда отстаивал тот взгляд, что национал-социализм несет с собой хаос, так как он ведет к войне».

Фашисты, как и следовало ожидать, ответили жестокими преследованиями.

Уже в первые дни фашистской диктатуры, в феврале 1933 года, был избит на собрании католиков один из крупнейших деятелей католической «партии центра» Штегервальд. Затем через некоторое время предательски был убит вождь католической молодежи Пробст. В 1937 году в Мюнхене был арестован популярный священник Руперт Майр и вместе с ним еще 10 священников. В 1938 году фашисты напали на дворец Мюнхенского епископа и разгро-

мили его. Вслед за этим фашисты обрушились с преследованиями на известного кардинала Фаульгабера. Были подвергнуты насилиям также епископ Шпроль, епископ Мейстер, архиепископ Гредер и многие другие. 30 октября 1937 года гитлеровский министр по делам культов Керрль заявил, что предстоят новые судебные процессы против 93 священников, 744 монахов и 118 церковных служителей. Так расправлялись гитлеровские головорезы со всеми, кто вольно или невольно становился на их пути.

Но, спрашивается, что же заставляет многих из священников идти против фашизма и рисковать своей жизнью? Основная причина этого заключается в том, что многие служители религиозных культов сознают недолговечность фашизма, видят его обреченность. Страдания широчайших слоев населения, изнывающих под ярмом фашизма, огромная ненависть масс к фашизму — все это не составляет секрета и для служителей религиозных культов. Священникам часто приходится сталкиваться с антифашистскими настроениями масс, верующие трудящиеся сплошь и рядом в своей борьбе с фашизмом ищут поддержки у церкви, как единственной массовой организации, уцелевшей от разгрома. Связав себя с фашизмом, церковь безусловно потеряла бы верующих. Вот почему часть служителей религиозных культов становится в ряды борцов антифашистского лагеря. Но кроме этого есть и другие причины, объясняющие этот шаг духовенства. Фашизм основательно ударил по материальным и политическим интересам церкви, лишил ее прежнего привилегированного положения в государстве, разогнал находившиеся под влиянием церкви

так называемые «конфессиональные» организации, запустил свою лапу в денежный церковный мешок и т. д.

Центральный комитет коммунистической партии Германии горячо откликнулся на борьбу верующих масс против фашизма и в апреле 1937 года выпустил воззвание к германским католикам, в котором говорилось: «Мы не делаем никакой тайны из того, что вы и мы не всегда идем теми же путями. Ваши и наши воззрения частично расходятся в самой основе. Мы не собираемся эти различия между вашими и нашими взглядами замалчивать. Но мы подчеркиваем, что всегда считали своим долгом бороться против каких бы то ни было гонений и преследований людей за их веру и прежде всего стремимся к объединению сил для сохранения мира. Поэтому поддерживаем мы по мере сил вашу справедливую борьбу за ваши права, за свободу вероисповеданий, и, когда вы защищаетесь от грязных нападков Розенбергов и Штрейхеров, мы — на вашей стороне».

Гитлеровцы обрушились с гонениями на верующих и служителей религиозных культов не только в самой Германии, но и в оккупированных фашизмом государствах. Глава польского духовенства епископ Хлонд, бежавший от фашистского нашествия, пишет: «Со времени принятия Польшей в X веке христианства ее западные провинции не подвергались столь огромным бедствиям, как во время германского захвата этих областей... Большинство церквей закрыто... Оставшиеся священники обязаны после богослужения молиться за Гитлера... Немецкие уполномоченные ведут себя, как хозяева церквей, кладбищ, жилищ священников, церковного

и частного имущества... Перспективы весьма мрачны, если не наступят перемены».

Всюду, где только ступала нога гитлеровцев, немедленно начинались гонения на церковь, преследования верующих и духовенства. Тысячи церквей во Франции, Норвегии, Чехословакии Греции, Югославии и т. д. закрыты. Священники арестованы и посажены в тюрьмы.

Дикие, неслыханные и, казалось бы, невысказанные в наше время преследования религии вызвали широчайшую волну возмущения и протестов во всем мире. Против фашистских бесчинств, чинимых над свободой совести, подняло голос все прогрессивное, передовое человечество. В телеграммах, адресованных в СССР, представители различных организаций демократических стран клеймят фашистское варварство и подчеркивают демократизм Советского Союза, в частности, его последовательную и выдержанную политику в вопросах религии, обеспечивающую народам СССР полную свободу совести. Глава англиканского духовенства архиепископ Кентерберийский (Англия) в своем обращении пишет: «Нам надо помнить, что борьба России—есть наша борьба и что русские борются за все страны, которые еще сохранили свою свободу, и за все страны, которые теперь поработаны».

Так кровавая фашистская политика угнетения масс, лишившая их всех политических свобод, в том числе и свободы совести, привела, как и следовало ожидать, к совершенно обратным и нежелательным для фашистских извергов результатам.

Великая освободительная борьба против фашизма положит конец кровавому гитлеровскому

режиму. Но эта борьба будет иметь и другое историческое значение. Она освободит сознание миллионов трудящихся от старых, вредных предрассудков, поможет им выработать правильное, научное мировоззрение, произведет революцию в сознании людей.

Люди различных политических убеждений, различных уровней развития, рас, национальностей, религий в процессе борьбы с фашизмом спланиваются, осознают правоту революционной борьбы, историческую роль страны социализма — СССР, вырабатывают правильные взгляды на жизнь. Марксистско-ленинское мировоззрение найдет себе миллионы новых последователей во всем мире. Будет праздновать свою победу и пролетарский атеизм. Тысячи верующих людей выйдут из борьбы с фашизмом безбожниками.

Борьба против фашизма имеет, таким образом, величайшее освободительное значение. Она не только несет народам всего мира освобождение от угрозы фашистского порабощения, но и способствует освобождению сознания масс от идеологии капиталистического мира. Вот почему каждый из нас должен отдать свои силы этой борьбе.

Сокрушить до конца фашистскую гадину, освободить человечество от смертельной опасности, нависшей над ним, — разве может быть более важная и благородная задача?

Редакция

Лион Фейхтвангер

УСПЕХ

(отрывок)

Служанка Амалия Зандгубер родилась в деревне недалеко от Мюнхена. Была дочерью малоземельного крестьянина. Подростком бежала она из печальной домашней обстановки в город, поступила там в услужение. Рано начала водиться с мужчинами. Была девушка любопытная, добродушная, легковерная и сентиментальная. Однажды она разрешилась мертворожденным младенцем. Второй ребенок умер вскоре после рождения. Наученная опытом, она стала вести записи с точными датами своих встреч с мужчинами. Записывала, например: «Альфонс Гштеттнер, Буттермельхерштрассе 141, встретила во 2-е воскресенье июля в Английском саду за Молочным домиком». Она очень гордилась таким хитроумным приемом. Находясь на службе у четы артистов, она вместе с ними уехала в северную Германию. Переменив там несколько раз место, она, наконец, попала в семью Клекнер. Хозяин дома, когда Амалия поступала к ним, был полковником. Вскоре он получил повышение. Служба у такого шикарного офицера льстила самолюбию Амалии, его повелительный, резкий голос доставлял ей какое-то особое удовольствие. Она была беспредельно пре-

дана своему хозяину и в его присутствии вела себя, как в церкви.

Во время войны она оставалась на службе у генеральши. Генерал Клекнер так же, как и генерал Веземан, несколько недель после окончания войны нигде не показывался. Когда Веземан переселился в Мюнхен, Клекнер последовал за своим другом, которого глубоко чтит. Таким образом и служанка Амалия Зандгубер снова вернулась в Мюнхен. Она была уже не так молода: ей было около тридцати шести лет. Она радовалась, слыша снова, после столь долгого промежутка, звуки родного говора. Она понимала, что говорят кругом нее, и все понимали ее. Мужчины тоже понимали ее; она была плотной, ловкой и очень покладистой девицей.

У генерала Клекнера бывали в доме многие из вождей «истинных германцев». Разговоры велись с наивной откровенностью. От прислуги ничего не скрывали, тем более — от такой преданной девушки, какой была Амалия. Речь шла об организациях, восстаниях, приказах, о планах выступлений и складах оружия. Служанка Амалия Зандгубер к этим разговорам не прислушивалась, а если и удавливала случайно какие-нибудь отрывки, то все равно ничего не понимала.

В этот период за ней стал приударять приказчик мясной лавки. Это был крепкий, рослый парень. Амалия, повидимому, нравилась ему. По воскресеньям он отправлялся с ней на прогулку. Эта связь длилась дольше, чем связи с другими ее любовниками. Она была счастлива. Жалко только, что так редко удавалось встречаться. Она бывала свободна лишь раз в две недели по воскресеньям. В другие дни было очень трудно урвать время и побыть вместе без по-

мехи дольше нескольких минут. Теперь, правда, в доме генерала царило небывалое оживление. Генеральша была в отъезде. Если удавалось заблаговременно узнать, что явятся определенные посетители, тогда иной раз можно было освободиться ночью на два-три часа. Поэтому, чтобы установить время свидания с Амалией, молодому мяснику нужно было заранее знать, когда именно должны явиться эти определенные посетители. Амалия была прекрасно осведомлена. Можно было твердо назначить час встречи.

«Истинные германцы» заметили, что в левых кругах были точно осведомлены о том, кто бывает в доме генерала Клекнера и когда именно происходят там собрания. Особенно серьезного в этом ничего не было: генерал был в праве принимать, кого ему заблагорассудится. Все же становилось несомненным, что в доме генерала — предатель. Слово «предатель» пользовалось особым успехом в кругах «истинных германцев». Один из романтических параграфов устава организации гласил: «Предатели уничтожаются тайным судилищем». «Тайное судилище» было организацией, существовавшей в Германии в средние века, — организацией, ставившей себе задачей восполнить недостатки тяжеловесного официального средневекового суда и заменить его более скорой и в то же время более соответствующей народным настроениям формой юстиции. Патриотическое течение вновь призвало к жизни этот институт, но в несколько новой форме — с явным налетом влияния приключенческих романов об индейцах, превратив его в жутко-романтическую организацию, вычеркивавшую по приказу каких-то неопределенных начальствующих лиц из списка живых всякого,

кто приходился ей не по вкусу. От руки этого мрачного судилища, являвшегося неотъемлемой частью организации «истинных германцев», пало в Германии несколько сот человек.

Кое-кто из патриотов стал высказывать подозрения по адресу служанки Амалии Зандгубер, которая, повидимому, была виновницей предательства в доме генерала. Когда же после одного из собраний у генерала властям было выдано местонахождение склада оружия патриотов, так что их представителям при полиции лишь с большим трудом удалось своевременно спасти нужное партии оружие, «тайное судилище», недолго думая, приговорило служанку Амалию Зандгубер к смерти. Генералу об этом ничего не сообщили. Достаточным доказательством вины было сочтено уже одно то, что ее видели в обществе приказчика мясной лавки, принадлежавшего к коммунистической партии.

Исчезновение то одного, то другого из людей, приговоренных «тайным судилищем» к смерти, в последнее время стало привлекать внимание общественности. В левых газетах появились возмущенные статьи. Власти вынуждены были поставить патриотам на вид, что не могут дольше оставаться безучастными. Таким образом приведение в действие приговора над служанкой генерала представляло некоторый риск. Перед Эрихом Борнгааком, молодым патриотом, открылась возможность совершить сверкающий мрачным блеском подвиг. Он взял на себя поручение покончить с девицей Зандгубер при соблюдении необходимой тайны, но все же так, чтобы ее смерть послужила должной угрозой всем предателям.

Генерал Клекнер держал несколько собак,

которых Амалия от времени до времени должна была выводить на улицу. Да и кроме того любопытной и болтливой девушке часто представлялся случай под предлогом выполнения какого-нибудь поручения вырваться на короткое время из дому. Генерал жил в районе, застроенном вилами, в тихой аристократической части города. Дома стояли поодаль друг от друга, окруженные садами. Улица была мало оживлена, так что каждое новое лицо привлекало к себе внимание.

В последнее время внимание Амалии стал привлекать красивый молодой парень в кожаной шоферской куртке. Стоило ей выйти на улицу, как он оказывался тут как тут и вертелся около нее, очевидно, стесняясь заговорить с ней. Она ободряюще улыбалась ему, и в конце концов он решился раскрыть рот и заговорил, хотя и несколько беспомощно, но все же не без грубоватой галантности. В отличие от местных обычаев он не перешел сразу же в решительное наступление. Прошло несколько дней, а ничего еще не случилось. Такое поведение казалось Амалии особенно джентльменским. Кроме того, она испытывала какую-то почти материнскую нежность к этому юноше, повидимому, так мало искушенному в вопросах любви. Мясник, правда, предостерегал ее, говоря, что у этого парня хитрая, настоящая «истинно-германская» рожа и что пусть она будет осторожна: от этих людей хорошего ждать не приходится. Он полагает, что этот франт подъезжает к ней с какими-нибудь определенными целями и эти цели, должно быть, весьма мало похожи на то, что себе в мечтах рисует Амалия. Девушка Зандгубер решила, что речи мясника продиктованы ревностью. Она радовалась, что все еще привлекает кавалеров, и,

когда юноша в кожаной куртке предложил ей в один из ближайших вечеров проехаться с ним на автомобиле в Штарнберг, она, сияя, согласилась.

К сожалению, в автомобиле они оказались не одни. Юноша в кожаной куртке, которого звали Людвигом, к своему великому сожалению, не мог отказать двум приятелям, которые помогли ему достать автомобиль, и не прихватить их с собой на прогулку. Один из приятелей был особенно шикарен, франтоват, настоящий барин. Второй меньше понравился Амалии. Это был неуклюжий, какой-то словно заспанный человек, и, в то время как шикарный, здороваясь, поцеловал краснеющей Амалии руку, второй лишь скользнул по ней тяжелым взглядом и едва кивнул.

Выехали поздно вечером. Дул южный ветер — совсем незаметно было, что уже декабрь. Почти весь снег стаял. Приятели устроились на переднем сидении. Амалия и Людвиг расположились внутри автомобиля. Это был прекрасный лимузин, и Амалия гордилась и своим Людвигом и поездкой. Все же ей было не так весело, как она предполагала раньше, так как мешало присутствие посторонних. Хорошо, конечно, что Людвиг не был так настойчив, как другие ее поклонники, но все же ему следовало быть более разговорчивым. Правда, сидевшие впереди были еще более молчаливы. Ехали медленно по направлению к югу, миновали предместье Зендлинген, приближаясь к обширному, редкому и малолюдному форстенридеровскому парку.

Да, тем, впереди, — Эриху Борнгааку, сидевшему за рулем, и боксеру Алоису Кутцнеру, — не о чем было разговаривать друг с другом. Ведь все было уже переговорено. Боксер тупо глядел на дорогу, которую свет автомобиля

выдвигал из темноты. В эту декабрьскую ночь он обливался потом, южный ветер душил его. Он был рад, что, наконец-то, перед ним открывается возможность действовать — какое-то настоящее, серьезное дело. Слишком уж затянулась история с королем Людовиком II. Мальчишки болтали, сыпали обещаниями, а старый властитель все еще томился в тяжелом и унижительном заточении. Когда Эрих предложил ему участвовать в «изъятии» предателя, он с радостью согласился. Наконец-то хоть что-нибудь произойдет, наконец-то, понадобится и Алоис Кутцнер, его сила, его руки. Иметь возможность схватить кого-то за горло, выжать из него красный сок — это было приятно, в этом было облегчение...

Девушка Амалия Зандгубер между тем сидела рядышком со своим Людвигом. Она всунула свою руку в его, но он как-то слабо реагировал на ее ласку. Он ведь всегда был так стеснителен. Сегодня же он был особенно молчалив. Возможно — потому, что ему сейчас вспоминался его отец и то, как он мальчиком мчался с ним в темноте по этому лесу, пугая королевских кабанов. Но Амалия не знала этого.

— Как жаль, что мы не одни! — проговорила она.

— В компании всегда веселей, — уклончиво ответил он.

— Да, конечно, — согласилась она. — А все-таки жаль!..

Прекрасная ровная дорога была пустынна в этот вечер, когда дул сильный южный, щеко-чущий нервы ветер. Лишь изредка попадались навстречу то экипаж, то велосипедист. А тут вдруг, вскоре после того, как проехали мимо лесничества, машина свернула с широкой про-

езжей дороги на какую-то боковую, размокшую от талого снега. Автомобиль покачивался, вокруг него взлетали брызги грязи.

— Куда же он едет?— спросила девушка. — Я думала, что мы едем в Штарнберг.

— Отсюда можно ближе проехать,— сказал Людвиг.

— Да разве он здесь проберется?— забеспокоилась Амалия.

Пробраться, повидимому, было невозможно, так как автомобиль остановился. Сидевшие на переднем сидении соскочили на землю.

— Что случилось?— спросила Амалия. — Я заранее могла бы сказать господам, что мы здесь не проедем.

— Если захотим, то доберемся, куда нужно,— сказал неуклюжий, полусонный. Амалии он нравился все меньше и меньше. Франтоватый вообще ничего не ответил.

— Так в чем же дело?— настаивала девушка. — Ведь для того, чтобы добраться до Штарнберга, нам нужно вернуться назад на дорогу.

— Наплевать на Штарнберг! — мрачно произнес боксер, вспомнив при этом об озере, в которое будто бы бросился его любимый король.

— Выходите все, господа!— весело крикнул франтоватый. — Вы увидите, сударыня, здесь гораздо уютнее.

— Да,— вмешался теперь и ее Людвиг. — Здесь будет хорошо.

Девушка растерянно оглянулась.

— Как — уютно? — спросила она. — По моему, здесь ужасно неуютно. Всюду грязь. Где же здесь можно присесть? А только шагнешь — и будут полные башмаки воды и грязи.

— Дело в том, что у меня в двух шагах отсюда

охотничий домик, — сказал франтоватый и улыбнулся своими алыми губами, полуоткрыв белые зубы. — Там все приготовлено для скромного ужина. Мне доставило бы особое удовольствие, если бы барышня оказала мне честь, — и он дерзко и настойчиво поглядел на нее своими голубыми, впивающимися глазами. Поддаваясь очарованию джентльменских манер и уже почти соглашаясь, Амалия нерешительно взглянула на Людвига. Но это скорее было уже проявление кокетства, чем сомнения.

— Итак, в путь! — сказал Людвиг. — Нечего нам тут долго ломаться!

Он выскочил из автомобиля. Амалия последовала за ним, ступила на мокрый, скользкий снег, кокетливо вскрикнула и с досадой сказала, что в такую погоду это прямо свинство.

Франт и Людвиг подхватили ее с двух сторон под руки. Неуклюжий, тяжело ступая, шагал сзади. Так они двинулись по узкой тропинке в глубину леса. Густые, ярко окрашенные облака мчались по небу. Справа и слева порывами дул сильный теплый ветер. Узкой кривой полоской стоял над деревьями месяц. Всюду капало и текло. Итти было скользко. Мутнобелые, поблескивали лужи тающего снега. Когда попадалась лужа пошире, Людвиг и франт крепче подхватывали девушку и сразмаху перескакивали с нею через это препятствие. В общем это было даже весело.

— У господ здоровые мускулы! — одобрительно воскликнула Амалия. — Но ведь прошло уже пять минут, далеко еще до вашей виллы!

— Нет, уже недалеко, — ответил франт.

Тропинка оборвалась. Теперь приходилось уже пробираться прямо через кустарник.

— Да ведь это не дорога,— сказала Амалия.

Ее подняли на руки и понесли. Изредка ее царапали ветви деревьев, но в общем все же было очень приятно продвигаться так через лес на руках этих крепких мужчин, ощущать на себе теплое дыхание ветра.

— Да ведь это вовсе не дорога,— повторила она.— Как же вы доберетесь до вашей виллы?

— Где есть вилла, там есть и дорога,— сказал франтоватый, с улыбкой взглянув на нее.

С какими образованными людьми водился ее Людвиг!..

С тех пор как они пробирались сквозь кустарник, неуклюжий шагал уже не позади, а впереди, отгибая ветки, склоняя их вниз, расчищая путь. Эриху Борнгааку вся эта история начала уже надоедать. Теплый ветер раздражал его почти так же, как болтовня глупой женщины на его руках. На боксера Алоиса ветер не производил впечатления. Он был полон мрачной жажды действия.

Добрались до прогалины. Мужчины спустили девушку наземь.

— Разве здесь ваша вилла?— глупо смеясь, спросила она.

Мужчины промолчали.

— Ах,— проговорила она,— меня все-таки тяжело было нести! Вам, верно, нужно передохнуть?

— Кто-то другой скоро отдохнет...— пробурчал боксер.

— Что это с вами со всеми?— спросила Амалия, оглядывая молча и неподвижно стоявших вокруг нее людей. Людвиг вытащил из кармана своей кожаной куртки листок бумаги и громко прочел: «Служанка Амалия Зандгубер выдала важные государственные тайны. Предатели

уничтожаются тайным судилищем». Амалия поглядела на него, ничего не поняла. Она сочла это за шутку, но нашла, что шутка неумная. Кроме того, здесь было сыро и грязно. Если сейчас не выберешься отсюда, то назавтра обеспечена простуда.

— Мне кажется,— сказала она,— что пора отправиться на вашу виллу или же в Штарнберг. От свежего воздуха хочется есть.

Боксера Алсиса возмутил такой цинизм.

— Я думаю,— произнес он, и слова его звучали словно по-писаному,— не следует человеку упорствовать перед лицом смерти.

— Какой ваш приятель забавный!— сказала Амалия, несколько растерянно переводя взгляд с одного на другого.

Но мужчины старались не глядеть на нее. Поэтому ей уже не суждено было уловить их взгляд, и последним, что она увидела, было лицо Алоиса Кутцнера, который, приблизившись к ней, раньше, чем она успела вскрикнуть, раньше даже, чем она могла испугаться, нанес ей со страшной силой удар подковой, которую он в последнее время постоянно носил при себе «на счастье». Затем он опустил ее около нее на колени, быстро пробормотал слова молитвы, прося бога дать ему силы поскорее ее прикончить, и задушил ее.

И вот она лежала в грязи, в тающем снеге. Для этой автомобильной поездки она нарядилась по-праздничному, надела коротенькую модную юбку. Юбка сдвинулась, приоткрыв колени и над ним узкую полоску кожи и краешек грубых белых панталон. Крепкие ноги были обуты в чересчур нарядные туфли. Шляпа съехала набок. На посиневшем почти до черноты

лице, обрамленном жесткими, коротко подстриженными волосами, резко выделялся высунутый язык.

Эрих, переминаясь с ноги на ногу, закурил папиросу. Не больше двух недель срока дал он себе, — самое большее через две недели Георг должен быть свободен. И он вдруг взглянул на убитую острым, пронизывающим взглядом. Людвиг Ратценбергер мысленно с удовлетворением отметил, что все кончилось быстро и он свободно к половине одиннадцатого успеет к ресторану Пфаундлера за своим господином Рупертом Кутцнером. Боксер Алоис Кутцнер смахнул грязь и снег, приставшие к его коленям. «Так бы их всех, паршивцев!» — пробормотал он и воткнул в снег около покойницы сухую ветку. К ветке он прикрепил листок бумаги с неумело нарисованной на нем черной рукой и надписью: «Предатели! Остерегайтесь!» Он сделал это потому, что устав, которым должно было руководиться «тайное судилище», гласил: «Предателей следует убивать, оставляя при этом знак, ясно указывающий на причину казни».

— Так просто это не делается, — неодобрительно заметил Людвиг Ратценбергер. Он вытащил отпечатанный на пишущей машинке приговор и заменил им записку, прицепленную боксером к сухой ветке. Но боксер остался недоволен. Холодный деловой шрифт машинки не казался ему достаточно наглядным выражением значительности поступка, и он настаивал на том, чтобы записка с изображением черной руки была оставлена на месте. Эрих предложил оставить и то и другое. На этом все согласились, и так было сделано.

В. Лангхофф

БОЛОТНЫЕ СОЛДАТЫ

(три отрывка)

В КАРЦЕРЕ

Охранник отпирает дверь.

— Лангхофф, на допрос! Прибыла уголовная полиция!

Пока я надеваю куртку и причесываю волосы, тысяча мыслей проносится у меня в голове. Может быть, отпустят! Наверное! Составят протокол, и я буду свободен. Им не в чем меня обвинить, и если впоследствии я могу выступить против них в роли обвинителя, то это еще не основание меня задерживать. Может быть... может быть!

— Живо, поторапливайся!

Я иду впереди охранника и направляюсь к канцелярии. Но охранник говорит:

— Нет, сюда вниз!— и ведет меня с первого этажа вниз и затем по железной лестнице в подвал.

«Странно,— думаю я,— почему следователь не сидит в канцелярии?»

Мой спутник отпирает железную дверь. За этой дверью маленькая передняя, потом вторая дверь. Он открывает ее и вводит меня в совершенно пустую камеру. Ни стола, ни кровати,

ни шкафа. Только голый каменный пол, побеленные высокие стены и под потолком маленькое окно из толстого стекла. Ледяной холод.

— Подожди,— говорит охранник и исчезает.

Я остаюсь один. Чувство неуверенности охватывает меня. Почему сюда? Зачем эти приготовления? Где следователь?

Дверь позади меня тихо открывается. Шесть или семь охранников входят и запирают ее за собой.

Я смотрю на них, и мне тотчас же ясно, что они против меня замышляют. Я не труслив, но у меня подкашиваются ноги. Охранники безмолвно становятся вокруг и смотрят на меня.

Один вытаскивает из кармана маленький желтый листок, подносит его к моим глазам и говорит спокойно и приветливо:

— Знакомы тебе эти имена?

С тревогой беру листок. Это имена дюссельдорфских врачей и архитекторов. Ни одного из них я не знал лично.

— Я их не знаю.

Охранник отбирает у меня листок и кивает своим коллегам.

— Ты должен, однако, сказать правду. Знаешь, лучше говори правду.

И все это спокойно, тихо, приветливо.

— Само собой разумеется. Я и говорю правду,— отвечаю я и вижу, как один из них отстегивает от пояса резиновую дубинку.

Словно шутя, он слегка дотрагивается до моей груди. Я отступаю назад и наталкиваюсь на охранника, стоящего за моей спиной.

— Ну, ну, повежливее,— говорит тот тоже очень добродушно и дает мне такого тумака, что

я лечу на другого охранника. Последний хватает меня за рукав и посмеивается:

— Значит, как же теперь, скажешь правду. Посмотри-ка сюда,— он взвешивает свою резиновую дубинку на руке.— Порядочно весит. Попробовать разок?

Он наносит мне дубинкой легкий удар по уху. Это послужило знаком для остальных.

— Говори правду!— кричит другой и бьет меня изо всей силы по голове.

— Говори правду! Говори правду!— кричат теперь все в такт, и на меня обрушиваются ту пые тяжелые удары. Я закрываю лицо обеими руками. Пробую укрыться, насколько это возможно. Начинаю громко кричать от боли:

— Помогите! Помогите! Перестаньте! Рад бога, перестаньте! Вы меня искалечите!

— Зат-кни глот-ку! — каждый слог сопровождается ударом. Они входят в раж. Тяжел дышат. С каждым ударом их ярость возрастает. Я падаю на колени. Они поднимают меня и снова бьют. Я падаю опять. Они снова поднимают и ставят меня к стене. Я уже почти ничего боли не вижу. Все плывет перед глазами.

— Куртку долой!

Я не в состоянии двинуть руками.

Кто-то стягивает с меня куртку. Руки застревают в рукавах.

— Где Эдит?

Они имеют в виду мою секретаршу.

— Какая Эдит?

— Твоя любовница, свинья! С которой ты всегда...

Вся шайка ржет.

Один поднимает мне голову и пристально смотрит в лицо. Его глаза отвратительны.

— Ты... всегда ведь, свинья?
Кровь бросается мне в голову.

— Это неправда!

— Что? Ты, красная свинья, осмеливаешься говорить, что охранник лжет?

Бац! Избиение продолжается.

— Повтори: я с Эдит... Скажешь или нет?!

— На помощь! Помогите!

Я пытаюсь прикрыться руками — они бьют дубинкой по пальцам.

Я забиваюсь в угол. Они волокут меня назад и ставят опять к стене.

— Кончено! Теперь тебе крышка!

Один вынимает из кобуры револьвер и подносит к моему лицу.

— Говори, куда спрятал оружие?!

Я больше не знаю, что говорю. Пот и кровь ручьями текут у меня по телу.

В голове одна мысль: «Скорей, скорей! Скорей бы конец!»

— Повернись!

Я поворачиваюсь лицом к стене. Я чувствую на спине дуло револьвера.

Слава богу, сейчас все кончится!

Курок щелкает, и в то время, как я падаю, кто-то изо всех сил ударяет меня в зад. Охранники раздражаются хохотом. Они оставляют меня лежать на полу.

— Теперь у тебя полчаса времени. Потом мы вернемся, и ты скажешь нам, куда запрятал оружие и известны ли тебе имена, написанные на листке.

Они уходят.

В течение этого получаса я только повторял мысленно:

«Так вот, значит, как... Так вот, значит, как...»

Я больше не испытывал страха. У меня было такое чувство, словно я — кто-то другой, видящий самого себя лежащим на полу.

Сто раз я повторял себе: «Так вот, значит как... Так вот, значит, как...»

Я не был в состоянии думать ни о чем другом.

Я задыхался, мне было страшно жарко. Я лежал пластом на животе и прижимал голову и голую грудь к холодным каменным плитам. Это охлаждало. Из носа и рта текла кровь. Я лежал головой в луже крови и пытался отползти в сторону. Невыносимая боль! Я не мог пошевелиться. Кожа во многих местах лопнула. Шея и руки распухли. Языком я нащупал десны. Спереди ни одного зуба.

Проклятие, они выбили тебе зубы! Не волнуйся, для чего тебе теперь зубы? Все равно через полчаса они придут и прикончат тебя.

Полчаса. Еще полчаса! Никаких мыслей о смерти. Никакого страха. Почти объективный интерес. Второстепенные вещи, мелочи: как ты держался? Ты мог бы лучше укрыться. Не следует стоять в середине. Надо забираться в угол. В углу тебя могут бить — самое большое — трое.

Рукам и голове особенно досталось. С трудом мне удалось отползти немного в сторону. Я смотрел вверх, на голые стены. Так, значит, выглядит карцер.

За стеной разгружали уголь. Я слышал, как антрацит с грохотом падал на землю и как в него погружалась лопата. Может быть, они услышат меня? «На помощь!..»

Я не мог кричать.

Когда они вернутся, сейчас же начни с ними разговаривать. О чем только? Безразлично. Лишь бы говорить. Заговорить, как только вой

дут. Говорить не переставая. Может быть, тогда они не будут больше бить? Мерзавцы! Как они смотрели! С любопытством, возбужденно! Как смеялись! Этот рыжий с рыбьими глазами особенно забавлялся! Пить!.. Пить!..

Я лежал и сторожил их шаги. Потом, должно быть, потерял сознание. Я пришел в себя только тогда, когда они уже стояли передо мной и приводили меня в чувство пинками.

— Встать!

— Не могу!

— Не можешь? Подожди, малютка, я помогу тебе немножко!

Охранник рванул меня вверх и поставил на ноги. Шатаясь, я прислонился к стене.

— Смирно! Руки по швам! Ну, видишь, да ты совсем молодчина. Отделение, марш!

Я пытался держаться прямо. Я маршировал по камере.

— Так, хорошо!левой, левой... раз, два, раз, два!.. Кругом! Марш!

— Господа, пожалуйста, перестаньте! Пощадите! Я не знаю ничего!

— Кто тебе позволил остановиться?! Будешь ты маршировать?

Я маршировал...

— Стой! Нагнись!

Один крепко держал меня. Другой стянул с меня штаны. Били резиновыми дубинками. Я почти ничего больше не чувствовал. Я сделался невосприимчив к боли. Как оглушенный. Как одурманенный. Только мозг был трезв. Странно трезв. Я мог наблюдать совершенно точно. Каждый удар я регистрировал сознанием. Мысленно я ударял вместе с ними: ну-ка еще разок! Есть! Еще — раз! И еще — раз!

Когда я почувствовал, что больше не выдержу, меня осенила счастливая мысль.

Собрав последние силы, я вырвался, взмахнул руками в воздухе и грохнулся во всю длину.

Я не шевелился. Пусть считают меня мертвым. Они стали пинать меня ногами, ударили еще несколько раз, как по мешку, — я не издал ни звука и не шелохнулся.

— Пошли! Хватит с него. Он готов!

Лишь с трудом могли они оторваться от меня. Еще несколько пинков ногами, затем они исчезли.

Часы шли, я лежал на каменном полу. Все, что я мог еще чувствовать, было: «Выдержал! Прошло! Дружище, ты выдержал! Ты живешь!»

Я был в полузабытье. Раны, кровь, жажда, жар не тревожили меня. Я чувствовал только усталость, мной овладело состояние странного покоя, точно после большой, тяжелой работы.

В камере стемнело. В полусне я грезил. Все казалось мне прекрасным. Тысячи вещей всплывали предо мной: маленькие домашние события... школьные экскурсии в Шварцвальд... отрывки из ролей... отец и мать... обрывки мелодии... То, что я перенес, лежало в тумане — далеко, далеко позади.

Один раз я очнулся. Кто-то включил электричество. Железные двери открылись. Множество охранников вошло в камеру. У двоих высокие знаки отличия и серебряные шнуры на фуражках. Одного я узнал: группенфюрер, дюссельдорфский полицейпрезидент, ныне государственный советник, Вайтцель.

Он подошел ко мне, нагнулся с любопытством и спросил:

— Что с вами? Вы больны? Ушиблись?
Около него, скаля зубы, стояли мои мучители и подталкивали друг друга локтями.

— Да он здоров, как бик! Он просто представляется, группенфюрер! Это прожженный жулик!

Вайтцель улыбнулся, повернулся спиной и вместе со свитой покинул камеру.

«ТИХАЯ НОЧЬ, СВЯТАЯ НОЧЬ»

В отделении номер один устанавливается елка. Большое прекрасное дерево. Оно достигает железной галлерей первого этажа. Его ветви заполняют все пространство.

Мы заняты прикреплением свечей.

Декоратор из моей камеры, как специалист, играет главную роль. Обычно он довольно неразговорчив.

Сегодня утром отпустили на свободу двести пятьдесят человек. Рождественская амнистия. Освобожденные почти все из этой местности: два-три часа езды по железной дороге.

Сейчас они уже дома с женой и детьми... Как пылали их лица, как светились глаза! Мы, оставшиеся, смотрели им вслед, когда они шли по улице к вокзалу.

На углу они вдруг пустились бегом.

— Смотри-ка, как Фриц припустил на повороте...

— Да, не терпится парню!

— Когда я выйду отсюда, я тоже так побегу!

Они исчезли. Мы прилипли за работу. Молчаливые. Удрученные.

Ты должен был предвидеть, что тебя нет в их числе! Так что же ты хочешь? Но ведь другим посчастливилось! Почему же, собственно, не я? Почему?

Жена сделала бы большие глаза, если бы я неожиданно вырос в дверях!

— Добрый день! Найдется здесь местечко для меня?

Нет, так не годится! Она бы слишком испугалась. Я должен предварительно позвонить по телефону с вокзала. Или еще лучше — пошлю телеграмму! Да, это самое лучшее! Тогда она сможет приготовиться. Интересно, как выглядит комната? Жена говорит, что она не больше камеры. Не беда! Камера — но вдвоем. А потом придет вечер, ночь... Если бы ей конца не было... Я скажу жене, что мы никогда больше не расстанемся, что мы...

— Нужно составить список тех, которые ничего не получают из дому.

— Хорошо. Составим!

Многие из освобожденных уже получили свои рождественские посылки. Они оставили их для распределения среди нуждающихся.

Последний привет товарищам.

Заклученные выбирают комиссию, которая распределяет по котелкам печенье, колбасу, сало, яблоки, орехи, сигары и папиросы. Котелки мы расставляем под елкой на длинных столах, которые застилаем свежими простынями. При составлении списка возникают трудности.

Иной отказывается быть занесенным в список. Покраснев, он недовольно говорит:

— Я ничего не хочу! Оставьте меня в покое! Увольте!

И лишь после долгих уговоров соглашается.

К нам подходят заключенные!

— Этого вы тоже должны вписать. Он ещё ни разу ничего не получал из дому. Он только не хочет сказать.

Список готов. Сумерки мы проводим, сидя на лестнице.

В камерах нет света.

Охрана отделения поставила у себя в первом этаже радиоаппарат. Из караульного помещения доносятся рождественские песни, колокольный звон, звуки органа.

В таком корпусе, как в бассейне для плавания. К галлереям ведут железные лестницы и так же эхом отдается звук.

В тихих разговорах течет время. Потом зажигаем елку. С верхнего этажа спускаются заключенные.

Идут медленно, нерешительно. Смотрят недоверчиво вниз на дерево.

Они идут по лестнице, по коридору, садятся на стулья и скамейки, которые мы расставили длинными рядами.

Тишина. Дерево потрескивает, свечи мигают. В замешательстве, смущенные, смотрим на огонь. Сверху, на мостикё, караульный перегибается через перила:

— Живо, начинайте! Запевайте рождественскую песнь!

Тихая ночь, святая ночь...

Поют лишь три или четыре голоса. Остальные молчат.

Горький час гложущей тоски по дому!

Затуманенные глаза, в которых отражаются огни. Сгорбленные плечи; руки, безнадежно покоящиеся на коленях...

Я читаю вслух из сборника баллад «Мост на Тае» Фонтане, «Купите спички», «Рождество в большом городе».

Остаток нашего хора (лучшие певцы сегодня вышли на волю) поет:

У колодца, у ворот стоит липа...

Раздаем подарки.

— Спасибо,— говорит каждый,— спасибо...

Настроение не поднимается, все попытки расшевелить присутствующих безрезультатны. Обрывки фраз, сказанных шопотом, стесненные движения.

По зданию гремит:

— Отделение номер один, смирно!

Мы вскакиваем и становимся навтыяжку.

Входит комендант.

— Разрешите доложить: отделение номер один явилось на рождественский праздник.

— Вольно! Продолжайте!

Он идет между стульями к дереву. Его лицо бледнее обычного. Острый блеск колющих глаз под околышем черной фуражки. Он подходит к дереву. Снимает фуражку. Без нее он выглядит совсем иначе. «Демоническое» исчезло. Перед нами — деревенский полицейский.

Он начинает тихо, с саксонским произношением:

— Германская елка. Германское рождество!..

Он декламирует с упоением. В голосе звучат елейные нотки, глаза умиленно сияют. Ребенок под рождественской елкой!

— Я смотрю в ваши честные лица (с каких это пор у нас честные лица?!) и вижу: вы не плохие люди, не подонки. И если даже это рождество к вам сурово, то час свободы наступит ког-

да-нибудь и для вас! Помогите тогда нам в строительстве нашей великой новой германской родины. Будьте верными последователями нашего фюрера Адольфа Гитлера, который борется и за ваше счастье, за ваше будущее и который, на-верное, стоит сейчас, озабоченный, под рождественской елкой и думает о своем народе. Наш праздник — германский праздник! Германский от начала до конца. Быть немцем значит быть национал-социалистом. В этом духе мы и справляем наш первый национал-социалистский рождественский праздник!

Он надевает фуражку — он опять прежний «черный»:

— Продолжать!

— Отделение номер один, смирно!

Он уходит, мы облегченно вздыхаем.

Я декламирую юмористические стихотворения. Я часами рассказываю анекдоты. Только не падать духом! Лозунг дня — поднять настроение!

В конце концов здание гремит от хохота.

— Споем!

Все весело поют популярную песенку из звукового фильма:

Ура! Теперь не будут с нас
Квартирную плату драть.
Пусть здесь темно, пусть здесь тесно —
Нам к этому не привыкать.
Три шага вдоль и поперек —
Для наших вещей как раз.
Дадут соломенный мешок,
Да хлеба кусок, да супу глоток, —
Так отсюда не выгнать нас.

На следующее утро, в первый день рождества, заключенного из отделения номер три при-

водят на допрос к коменданту. Где-то в средней Германии нашли склад оружия. Заключенному что-то якобы об этом известно.

Комендант руководит допросом. Через два часа товарища уносят в лазарет.

Стены в комендантской забрызганы его кровью. Ее можно было видеть еще несколько дней спустя после праздника.

«ХЕЙЛЬ ГИТЛЕР!»

Это история человека, который не хотел сказать «хейль Гитлер».

Он принадлежал к религиозной секте «ревностных почитателей библии».

Произносить фашистское приветствие ему запрещала его религиозная совесть. Звали его Франк или Франке. По профессии он был инженер.

Он говорил каждому, хотел ли тот или не хотел слушать:

— Гитлер построил свое государство на крови.

И так как он принадлежал к тем сорока тысячам, которые после нового потопа обретут земной рай, то ему было легко переносить огорчения, лишения и убожество земного существования.

Так он попал в Лихтенбург и стал нашим товарищем. Он мало говорил, но приветливо смотрел на каждого. У него были жидкие, слегка волнистые, белокурые волосы над гладким лбом, большие голубые глаза, розовые щеки, женственный рот и маленький круглый подбородок. Ему было лет сорок.

Он неутомимо подметал камеры и коридор, носил воду и каждому оказывал какую-либо услугу. Но он не поднимал руку для приветствия. Он не говорил «хейль Гитлер».

В первый раз, когда караульный это заметил, он окликнул его:

— Почему ты не приветствуешь?

— Потому что бог запретил мне это!

Тот не верил своим ушам. Он вытаращил глаза на заключенного.

— Ты что, издеваешься надо мной?

— Нет!

— Из какого ты отделения?

— Из отделения три.

Вечером его увели в темный карцер. Через неделю он вернулся обратно с кровоподтеками под глазами.

— Будь благоразумен,— говорили ему товарищи.— Какое значение имеет «хейль Гитлер»? Поступай так же, как мы! Ведь это же только для вида!

Он покачал головой. На другой день он опять попался. Его отправили в темный карцер. На две недели.

Когда он вернулся, мы его не узнали.

Но он не поднимал руки и не говорил «хейль Гитлер».

Теперь сам толстый Циммерман решил научить его приветствию. В сопровождении пяти охранников он вывел его на маленький двор.

— Руку вверх! Руку вверх! Руку вверх!

Комендант наблюдал.

— Руку вверх!

Они набрасываются на него. Он падает в заледевшую лужу.

— Руку вверх! Хейль Гитлер! Хейль Гитлер! Ну, скоро ты?!

Это продолжается до тех пор, пока он не остается лежать без сознания.

Его кровь замерзает на стылой земле.

Мы умоляем его. Ничто не помогает. Его лицо делается неподвижным, оно приобретает детски-упрямое выражение. Мы в отчаянии.

Теперь его изолируют от нас. Помещают в камеру для «профессиональных преступников». Он получает их одежду. Каждый день он тащит бегом ведра из уборной.

Его руки в крови от этой работы. Его жизнь проходит между карцером, избиениями и чистой уборной.

Мы киваем ему, когда видим его. Мы шепчем ему. Мы делаем ему знаки, показываем, как нужно поднимать руку для приветствия.

Охранники держат пари.

• Будет он приветствовать или нет?

Много недель спустя он возвращается в отделение. Он держится за стену.

Уже в коридоре он встречает охранника. Его правая рука неумело поднимается.

Рука, покрытая запекшейся кровью, вытягивается. Он шепчет: «хейль Гитлер!»

Вилли Бредель

ИСПЫТАНИЕ

(отрывок)

Приближается рождество. Погода — как в рождественской сказке. Воздух холоден и сух, и выпавший снег лежит девственно чистым покровом. В домах, за стенами каторжной тюрьмы царит торжественная тишина. По вечерам из местной церкви до заключенных доносятся хоралы. Уголовные репетируют рождественский спектакль.

У большинства заключенных, даже у Крейбеля, по мере того как близится рождество, возникает странное чувство. Слишком глубоко пустили в человека свои корни обычаи и праздники, слишком много воспоминаний детства вызывают в нас празднично сияющая елка, стол с подарками, вкусные кушанья, финики, веселый хруст орехов и миндаля.

Крейбелю приходит мысль потребовать библию. Почитать библию. Хотя бы псалмы Давида или книгу Иова.

Из своей камеры он слышит шаги и стучит в дверь. Вахмистр Оттен отпирает.

— Господин вахмистр, я прошу дать мне библию!

Оттен от удивления делает несколько шагов в камеру и переспрашивает, словно не слышал:

— Чего тебе?

— Библию, господин вахмистр.

— А на что тебе эта самая библия?

— Почитать хочу, господин вахмистр. В библии есть прекрасные главы, господин вахмистр? Особенно в «Ветхом завете».

Онемев, выпучив глаза, смотрит Оттен на заключенного. Затем его вдруг охватывает ярость, он кричит:

— Тебе, свинья, только бы предлог выдумать! Знаем мы эти штучки!

И бьет Крейбеля справа и слева по лицу обратной стороной ладони. Тот, покачнувшись, опирается о стену.

— Это тебе за «Ветхий завет», негодяй... Я отлично знаю, к чему ты ведешь... Посмей еще раз, нахал, постучать в дверь.

Не успевает он выйти из камеры Крейбеля, как в дверь стучит сосед.

— Перестань, идиот! Что мы вам, мальчишки на побегушках?— слышит Крейбель голос вахмистра.

Крейбель пододвигает табуретку к окнам и взбирается на нее осторожно, прижимаясь всем телом к стене. Часовой, топая сапогами, медленно ходит вдоль стены, его взгляд устремлен на следы в снегу. Короткие, тихие сумерки переходят в ночь. Луна становится яркой и начинает светить. Загорается несколько звезд. Вдали, за искрящимися в лунном свете снеговыми полями, смутно вырисовываются людские дома. В их окнах свет и жизнь. Из дома инспектора,

неподалеку, доносятся высокие детские голоса. Рождественская песнь. Сегодня сочельник.

Крейбель стоит на табуретке и смотрит сквозь решетку... Жена, верно, сидит дома и думает о нем так же, как он думает о ней... Маленького Фрица она пораньше уложила спать... И пока другие в радостном кругу семьи поют и веселятся, она, может быть, спешит по пустынным темным улицам... А может быть, она лежит в своей одинокой постели и, как он, не может заснуть?

Сочельник...

А ведь всего год назад у них было рождество безбожников. Труппы агитпропа и театральные коллективы так замечательно высмеивали и бичевали лицемерие и лживость богатых и сытых обывателей...

Сочельник...

— И про вас вспомнили! — сказал вахмистр несколько часов назад.

Служитель принес ему, как и всем заключенным, небольшой кусок итальянской колбасы, полкубика искусственного меда и шесть коричневых пирожков. — От лагерного управления! И так как Крейбель молча взял угощение, вахмистр Нусбек закричал возмущенно: — А ты, свинья, даже спасибо не скажешь!

Сочельник...

Какой будет следующий сочельник?

Когда-нибудь мы это лицемерное волшебство разрушим — мы, те, кого они сейчас мучают и убивают...

Шаги. Крейбель спрыгивает с табуретки, отодвигает ее от окна, забирается под свое тонкое одеяло и ложится на соломенный тюфяк.

Вахмистр Оттен в каждой камере включает свет. Свет горит всю ночь. Тогда наружным часо-

вым видно, если кто-нибудь из заключенных стоит у окна.

До утра лежит Крейбель без сна в освещенной комнате. И так же не спят за красными стенами многие сотни заключенных.

На другой день вахмистр Нусбек раздает рождественскую почту. Он входит в камеру Крейбеля и кричит во всю глотку:

— Получай свою почту!

Два письма и открытка. Какая радость! Уже сколько дней не получал он писем от жены и от матери. Поспешно он выдергивает листы из уже вскрытых цензурой конвертов.

В соседней камере стучат в дверь.

Господи, неужели Ганзен и сегодня не получит письма?

У Крейбеля на миг опускаются руки... Какая тут может быть связь? Несчастный человек!..

Сосед Крейбеля совсем теряет голову, слыша, что вахмистр, разносящий почту, проходит мимо его двери. Его охватывает нестерпимый страх: наверно, вахмистр ошибся. Он же должен получить сегодня письмо. Что этого не будет — он и представить себе не может. И он, несмотря на запрещение, бросается к двери и барабанит в нее кулаками.

Но вахмистр не слышит его и не возвращается...

У молодого заключенного сжимается горло; его охватывает чувство бесконечной покинутости и беспомощности.

Что могло случиться?

Что с матерью? Отчего она не пишет?

Страх и разочарование поднимаются в нем, как тошнота...

Шаги. Они снова будят в нем надежду. За-таив дыхание, он прислушивается... Да, вах-мистр останавливается перед его дверью. За-ключенный замечает, как неслышно шпион от-крывает глазок... За ним следят...

Оттен и Нусбек входят в камеру. В руке у Оттена два письма. Ганзен их тотчас заметил, и на его губах вспыхивает счастливая улыбка... Значит, все-таки!

— Сколько тебе лет?— спрашивает Нусбек.

— Восемнадцать лет, господин вахмистр.

— И все еще этакий маменькин сынок? В во-семнадцать лет человек уже взрослый мужчи-на... А ты, видимо, еще настоящий молокосос?

Заклученный не сводит глаз с руки, держа-щей письмо.

— Как имя твоей матери?

— Паулина, господин вахмистр.

— А живет где?

— Гуфнерштрассе 6, господин вахмистр.

Нусбек созерцает оба письма и передает их Оттену. Тот кричит:

— Пойди-ка сюда, мамашин любимчик!

Заклученный бросается к нему.

— Подними крышку унитаза!

— Что?..

— Поднять крышку унитаза!

С беспредельным отчаянием в глазах заклученный поднимает крышку унитаза.

Оттен берет письма и разрывает их надвое.

— Господин... господин вахмистр... мои письма!

Оттен разрывает половинки еще надвое и внимательно смотрит при этом на искаженное ужасом лицо юноши. Обрывки бумаги падают в унитаз.

— Дергай!

Заключенный недвижим; он смотрит то на вахмистра, то на обрывки письма в унитазе.

— Ну! Дергай!

Заклученный словно окаменел.

— Тебе говорят — дергай! Я приказываю дергать!

Оттен кричит и бушует. Юноша с бледным нежным лицом смотрит на него, не сводя глаз.

Тогда Оттен отталкивает его и сам дергает ручку. И при этом заглядывает в унитаз, желая убедиться, все ли кусочки бумаги исчезли.

— Похнычь-ка теперь. Похнычь, маменькин сынок! — издевается он и захлопывает дверь за собой и Нусбеком.

Крейбель слышит равномерные шаги часового за окном. Он слышит, как скрипит снег под сапогами. И внутри, в тюрьме, и снаружи, за стеной — ни звука. Дни уползают один за другим. Их спокойствие нестерпимо, убийственно. Хорошо, что только раз в году бывает рождество.

Он всегда был одинок и ничем не занят в этих четырех стенах. Но он жил каждым словом, проникавшим в его камеру, каждым шагом, доносившимся до него, каждым шорохом. Во время этих праздников всякая жизнь кажется задушенной. Даже не слышно покашливания товарищей в соседних камерах. Ни шороха, ни стука, ни шага не проникает сквозь стены камеры.

И все-таки в каждой камере сидит человек, товарищ. В каждой камере. В сотнях камер. И каждый смутно грезит в эти тихие дни, уходит

в себя в эти долгие одинокие дни и вспоминает о жене и детях, о родителях и друзьях, о товарищах, которые там, на свободе. Крейбель — в который раз за эти три рождественских дня — перечитывает свои письма, садится в углу возле отопления и читает:

«Мой дорогой Вальтер!

Вот и рождество подошло, а ты все еще в неволе. Кто бы подумал это, когда они тебя в марте увезли из дома? Несколько недель тому назад прошел слух о рождественской амнистии. Я была в ратуше и узнавала, не отпустят ли тебя, так как ты арестован еще с социал-демократических времен? Чиновник сказал мне, что комиссия по амнистии пересматривает отдельные случаи. Вчера мне сказали, что комиссия была у тебя, но отклонила твое освобождение. Дорогой Вальтер, я, говоря по правде, ничего другого и не ожидала, думаю, и ты тоже. И все-таки как было бы хорошо, если бы ты опять очутился с нами! Но — терпенье, мы еще увидимся.

Малыш болел крапивной лихорадкой. Твоя мать, которая так хорошо умеет обходиться с ним, совсем замучилась. Сейчас он поправился. Ужасный шалун, но такой чудесный мальчонка; ты его и не узнаешь. Он стал большой и сильный. Но прокормить его мне очень трудно.

Ведь нелегко жить на 8 марок пособия в неделю. Приходится очень экономить. От радио я отказалась; двух марок в месяц, которые я плачу за него, мне просто негде взять.

Милый Вальтер, все мы хотели собрать тебе на рождественскую посылку, мама, Грета, Пауль и друзья. Я предполагала, что тебе можно послать только одну и поэтому хотела соорудить из всех наших подарков замечательную по-

сылку. Но несколько дней назад стало известно, что посылать на рождество посылки содержащимся под арестом и вообще заключенным отныне запрещается. Таково новое постановление о наказаниях.

Не грусти, Вальтер, мы потом все наверстаем...»

Рука Крейбеля, в которой он держит письмо, опускается...

В ней, его жене, больше мужества и выдержки, чем он ожидал... А комиссия? Комиссия по амнистиям? Оказывается, это жуткое, безмолвное посещение горбуна решило его судьбу... Это и была комиссия по амнистиям?.. Да, тут случаются удивительные вещи... Ни единого словечка не было произнесено. Ни единого вопроса ему не было задано. За дверью горбун сказал:— Нет, не этого! И все...

Крейбель вытаскивает второе письмо, письмо от матери.

«Мой дорогой мальчик!

И я хочу написать тебе на рождество несколько строк, так как думаю, ты будешь все же рад получить письмо от своей мамы, хотя я ничего нового тебе не могу сообщить.

Сначала малыш был болен, очень болен. У меня было много работы, и дорогому мальчику пришлось вытерпеть немало, но он ужасно милый мальчик, представь себе, по всему телу сыпь, до 40 гнойников, доктору пришлось десять из них вскрыть. Кричал он — ты себе представить не можешь, мне пришлось держать его, это было ужасно, но теперь ему легче, сегодня он опять распевает.

О себе мне нечего писать, много заботы и хлопот и кроме того много неприятностей. О своих

больных ногах мне теперь думать некогда, если я сейчас сдамся, все пойдет наыворот, значит, надо мне крепиться.

А ты, мой мальчик? Как тебе живется, ну, я могу себе представить, не будем говорить об этом, но всему бывает конец, и для тебя придут лучшие времена, только не падай духом, о нас, женщинах, не тревожься, мы как-нибудь справимся.

Все тебе кланяются, мой мальчик, не грусти. Твоя мама».

Крейбель улыбнулся. Эти письма, сколько любви скрыто в каждом слове, сколько мужества и надежды.

Эти письма — его единственная рождественская радость, его единственное рождественское чтение, и он все снова берется за них, перечитывает, его трогает, что мать все важные для нее слова пишет с большой буквы, что она ставит точку только тогда, когда кончается ее мысль.

Он вешает эти письма на стену, над своим столом. Они — единственное украшение камеры, и всякий раз, когда он, шагая назад и вперед, проходит мимо стола, его взгляд падает на них.



— Смирно!.. На...а плечо! К но...оге! Марш! Пошевеливайтесь!

Караульный отряд концентрационного лагеря проходит военное обучение. Начальник отряда Тейтч командует.

— Что такое? Разве вам не весело, когда руки одновременно раз-два хватают винтовку и вы все застываете, словно отлитые из бронзы... Кальк, что у тебя такая рожа, словно ты уксусу напился? Почему ты не радуешься? А?

Кальк, смущенно ухмыляясь, пожимает плечами.

— Смирно!.. На-а плечо! В ногу... марш!

Отряд СС в стальных шлемах и с винтовками марширует по тюремному двору. Тейтч шагает рядом, критикует несимметричность их движений, манеру держать ружье, чуть раскачивать свободную руку.

— Взвод... так, ноги выбрасывай... стой! Так хорошо! Увидите, как нам девушки будут смотреть вслед... Взво...од... марш! Налево кругом... марш! Прямо...

В коридоре распределителя А 1 стоят лицом к стене три заключенных, которые были доставлены сегодня утром. У одного из них, высокого и стройного, черные, как смоль, курчавые волосы.

По коридору идут Дузеншэн и Мейзель, видят черную курчавую голову заключенного и останавливаются позади него. Дузеншэн наклоняется к его уху и шепчет:

— Как называется твоя родина?

— Германия!

— Что? Как называется твоя родина?

Заключенный слегка поворачивает голову и отвечает еще раз:— Германия!

Дузеншэн шепчет:— Как тебя зовут?

— Бруно Леви!

— Но ведь тогда твоя родина в Палестине, не правда ли?

Заключенный молчит.

— Отвечай, свинья!— ревет Дузеншэн ему в ухо.— Твоя родина в Палестине?

— Нет!

В это время мимо проходит Клэкнер, лагерный парикмахер. Он несет свои инструменты —

машинку, ножницы, гребень — в ящичке подмышкой. Дуженшэна осенила мысль.

— Алло! — окликает он парикмахера. — Что у тебя машинка — близко?

— Так точно, господин штурмфюрер.

— Ну-ка, давай ее сюда!

• Дуженшэн берет у него машинку и начинает стричь густые волосы еврея. Тот испуганно отстраняется.

— Стой смирно, идиот, а не то я тебе и уши отрежу!

Заклученного стригут наголо; волос совсем не должно оставаться, только маленький пучок посредине головы. Мейзель стоит неподвижно рядом со штурмфюрером и смотрит, как на пол падают кудри; лицо его спокойно, словно все так и должно быть. Во время стрижки Дуженшэн спрашивает:

— За что, собственно, ты взят под стражу?

— Мы рассказывали друг другу анекдоты.

— Кто мы?

— Мои друзья и я!

— Где друзья?

— Я не знаю.

— Так, так, анекдоты рассказывали... Какие же анекдоты? Я тоже хотел бы послушать хорошие анекдоты... Ну, не ломайся!

— Это были анекдоты... анекдоты... насчет правительства.

— Да, да, могу себе представить. Какие же, я хочу их слышать... Ну, скоро ты, или тебе нужно дать сначала хорошенько под задницу?

— Некто спросил, почему нам этой зимой уголь не нужен?

— Ну и? Продолжай... Продолжай!

— Ему ответили: оттого, что нас... нас на-гревает правительство!

— Необычайно остроумно!—иронически замечает Дузеншэн, дергает и рвет машинкой густые волосы около ушей и на висках.

— Еще, вы ведь, наверно, еще рассказывали!

— Почему... саксонский лес должен быть срублен? Оттого...— заключенный смолкает и боязливо косится на штурмфюрера, который все еще обрабатывает его макушку... — оттого, что Герингу... нужен новый платяной шкаф!

— Еще остроумнее. Вы, наверно, рассказывали друг другу анекдот о пожаре рейхстага, не правда ли?

— Нет!

Дузеншэн оглядывает бритого еврея и, ухмыляясь, говорит Майзелю:

— Удивительно остроумный парень, а?

Майзель вздергивает брови и по его лицу скользит еле уловимая улыбка.

— Он, правда, не красив, но оригинален.

— А вот мы его сейчас на дворе покажем!— Дузеншэн постукивает пальцами по голой голове заключенного.— Следовать за мной!

Заключенный с бритой головой и черным пучком волос на макушке похож на китайца, и его встречают во дворе не смехом, а ревом. Дузеншэн командует:

— Смирно!

Солдаты СС выравниваются.

— На плечо... Шагом марш!

Дузеншэн оборачивается к заключенному:

— А ты, свинья, сейчас галопом будешь бегать вокруг взвода. Это будет очень остроумно. Пошел! Шагом марш!

Заклученный Леви бежит за отрядом СС. Он забегает вперед, затем огибает отряд и с другой стороны возвращается навстречу солдатам. Затем обегает их сзади и снова бежит вперед.

СС издеваются всласть над бритым, который носится вокруг них, как бешеная собака.

— Петь! — приказывает Дузеншэн.

«Ах, Лора, Лора, Ло-о-ра,

Красивы девушки в семнадцать-восемнадцать лет...»

Дузеншэн кричит на заключенного, который, задыхаясь, бежит вокруг марширующих:

— Быстрее беги, нечего спать! Быстрее, еще быстрее.

«Когда в долине... будет май... поклон мой Ло... ре передай...»

— Быстрее беги. Быстрее!

«...выглядывает утром... там дочка лесника...»

Ах, Лора, Лора, Лоо-ра...»

Заклученный покачнулся, задев одного из марширующих, и получает от солдата такой толчок, что отлетает в сторону и падает.

Дузеншэн командует.

— Перед входом в тюрьму стать двумя рядами, шагом марш!

Измученному бегуну, снова поднявшемуся на ноги, предстоит пробежать в тюрьму между двумя рядами СС. Дузеншэн дает ему совет: — Торопись, а то их сапоги у тебя в заду застрянут!

Леви стискивает зубы, судорожно сжимает кулаки и молча бежит между рядами солдат.

С обеих сторон его подгоняют пинками и ударами... Он наклоняется, чтобы уберечь лицо и голову от ударов, и падает под яростными

пинками на землю. Подбитые железом сапоги топчут его... Он снова делает усилие, чтобы подняться, не видит ничего, кроме поднятых, наносящих удары рук и ног, слышит только хохот и гикание и чувствует, как его тело, описав крутую дугу, падает на ступени тюремной лестницы.

В первый миг он оглушен. Затем поднимает голову и видит гогочущие разинутые рты. Осторожно встает.

— Пошел наверх!— кричит Дузеншэн, и заключенный торопливо ковыляет вверх по лестнице.

— Слушать!— обращается штурмфюрер к СС.— Я хочу вам кое-что сообщить. Начальник пригласил всю охрану лагеря на встречу нового года. Это — награда за наши заслуги!

К. Биллингер

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ № 880

(Глава)

«ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ В ЛАГЕРЕ»

Воскресные дни были наиболее мучительны. Наружные команды оставались в лагере. Места для людей нехватало. Офицеры охранных отрядов уезжали в новоприобретенных машинах, часть стражи получала отпуск и возвращалась в лагерь только в понедельник утром. По воскресеньям нас отдавали в полное распоряжение «живодера». Он начинал день в половине шестого утра командой:

— На утреннюю молитву! Стели постели!

Нас заставляли так складывать одеяла на койках, чтобы шестнадцать серых полос приходилось сверху. Это было труднейшим делом. Постель нужно было сделать так, чтобы она была вся ровная — у изголовья, в середине и в ногах. Койки были узкие, соломенные тюфяки сплющены в лепешку. Это было бесконечно трудно. Сбоку подойти нельзя было, не примяв постели соседа. Приходилось начинать с изголовья и с невероятным терпением и осторожностью отступать назад, дюйм за дюймом, чтобы затем уже со стороны навести последний лоск. «Живодер» разгуливал по подвалам, окидывая

койки наметанным глазом. Он вымерял постели аршином, которым запасся в портновской мастерской. Если одной полосы не доставало или если одеяло лежало косо, он одним пинком разрушал работу, над которой заключенный промучился битый час. Когда проверка кончалась, нам раздавали обычную утреннюю порцию бурды и ком непропеченного хлеба. Но спокойно поесть не удавалось. Нас прерывал свисток «живодера».

— Смотр обуви!

Держа в руках начищенные сапоги — чем их чистить, дело наше! — мы выстраивались во дворе. «Живодер» ходил по рядам.

— Ты в армии служил? — спрашивал он обычно, когда заключенный показывал сапоги, вычищенные не по прусскому регламенту. — Тот и видно! Уж я вас выучу! Времени хватит!

После смотра сапог он сгонял нас в столовую. Игги не разрешалось. Когда на дворе царствовал «живодер», мы двигались только бегом. Столовая была слишком тесна, чтобы вместить нас всех. Двести человек сидели, остальные пятьсот или больше теснились у стен и в проходах между столами, чинили свои лохмотья или стояли, задумавшись, устремив глаза в одну точку. Через четверть часа опять раздавалась команда «живодера».

— Смотр ложек!

Снова мы выстраивались во дворе, на этот раз с ложками в руках. Снова «живодер» обходил ряды и учил нас, как прусский солдат должен начищать и показывать свою ложку. После смотра ложек — смотр мисок, а после него надо было убирать спальни охранников, караульные помещения, лестницы, двор, улицу перед лаге-

рем; надо было чистить картофель и мыть уборные. В этих занятиях проходили воскресные утренние часы. Служба в тюрьме научила «живодера», что ничто так не способствует исправлению преступника, как непрерывная работа! «Праздность — мать всех пороков!» — было его любимой поговоркой. Когда он бывал хорошо настроен, он добавлял: «Выше ногу, да здравствует отечество!»

После обеда он любил вздремнуть. Это был единственный час, когда мы могли немного отдохнуть. Тогда мы собирались тесной толпой в том углу двора, который был отделен от внешнего мира досчатым забором. Сквозь щели видна была улица и прохожие.

Долгие месяцы запрещены были передачи писем и свидания, и все же жены заключенных знали, что происходит в лагере. Когда мы вечером возвращались с работы, по рядам нередко проносился шопот:

— Пригницкие идут! Пригницкие идут!

Ведя перед собой велосипеды, навстречу нам шли работницы и, стараясь не выдавать своего волнения, искали глазами лица мужей и отцов. Несколько шагов, и вот уже колонна прошла...

Ради этих нескольких мгновений они часами дрогли в пути.

Из соседних домов можно было заглядывать во двор лагеря; в одном из этих домов жили муж с женой. Оба социал-демократы, уже немолодые; несмотря на риск, которому они подвергались, они пускали к себе незнакомых женщин и даже давали им бинокль, чтобы те могли разыскать своих родных во дворе лагеря.

Но лучшим источником сведений были сами охранники; пьяные, они в пивных Губертсго-

фа хвастались тем, как в лагере «унифицируют» евреев и марксистов. На следующий день их рассказы передавались из уст в уста. Женам было известно и то, как протекал обычно воскресный день и в какие часы исчезал со двора «живодер».

Они ждали этой минуты где-нибудь вблизи лагеря. С часу дня вдоль досчатого забора начиналось шествие. Шли не слишком густо, боясь, чтобы не разогнали часовые, шли не слишком быстро, чтобы не упустить мгновения, ради которого они приезжали из своих городов и деревень. Останавливаться нельзя было ни на минуту.

— Проходи! Проходи! — непрерывно раздавались окрики часовых.

И они шли дальше, но на углу поворачивали и снова возвращались, медленно, как можно медленнее... Может быть, хоть на этот раз удастся увидеть за колючей проволокой любимое лицо! Они не боялись опьяненных властью парней с карабином наизготовку. Они не украшали себя свастикой, чтобы расположить их к себе, они не говорили с ними и не достаивали их ни одной просьбой.

В углу забора заключенные сдвинули планку. Каждому бы хотелось постоять там, но нас было слишком много. Все, что мы могли делать — это ходить кругом по двору, чтобы каждый хоть раз прошел мимо щели. Медленно двигались две вереницы по обе стороны забора. Лицо за лицом всплывало на миг в щели и исчезало за досками.

В два часа дня появлялся «живодер», довольный собой и всем на свете. Он всегда сердился на себя за свою недостойную пруссака слабость поспать среди бела дня часок-другой по воскресеньям, и равновесие его души вос-

станавливалось только после четырех часов военных упражнений. До шести часов вечера по его команде семьсот человек, точно их дергали за веревочку, бросались лицом в грязь, и, наконец, в его голосе появлялись задушевные нотки, и почти дружески звучала его команда.

— Так-так, недурно! Еще раз: встать, лечь! Встать! Лечь!

Как-то в воскресенье утром мы стояли на холоду и ждали, пока «живодер» осмотрит семьсот пар сапог. Во дворе появился охранник в сопровождении господина в черном костюме, выразившего желание видеть дежурного офицера. «Живодер» отправился с ним в контору.

По возвращении он спросил, кто из нас какого вероисповедания. Среди заключенных оказалось много протестантов, гораздо меньше католиков и евреев, а большинство было атеистами и не принадлежало ни к одной из церквей.

«Живодер» сообщил нам, что католический патер будет каждое воскресенье в послеобеденные часы вести беседу, сопровождаемую коротким богослужением.

— Кто желает принять участие?

Никто не отозвался.

«Живодер» повторил свой вопрос, но никто из заключенных не выступил вперед.

Этим, казалось, вопрос о спасении душ заключенных был исчерпан. В следующее воскресенье католический пастырь тщетно ждал своей паствы.

Но он не падал духом. Он добился у администрации разрешения обратиться с проповедью к католикам. Темой проповеди он выбрал текст:

«И гляци, на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяно-

сто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии».

Проповедь была красноречивая.

Заключенные истолковали выбор текста, как шпильку, пущенную в «германских христиан», и радовались. Когда патер обещал позаботиться об их близких, тринадцать человек изъявили готовность посещать воскресные богослужения.

Охранники смотрели на успехи католической церкви весьма неодобрительно. Они пригласили в лагерь молодого пастора из Губертсгофа, национал-социалиста Келера, перед которым в ближайшую субботу велели выстроиться всем протестантам. Келер произнес бойкую проповедь о возвращении германского народа в лоно истинной веры под руководством своего фюрера Адольфа Гитлера. Нас, заключенных, он называл сынами германского народа, совращенными с пути истинного марксистами и подстрекателями-евреями. Теперь, когда весь мир снова сплотился для выступления против миролюбивого германского народа, никто не должен больше оставаться в стороне.

Но когда проповедник Келер предложил выйти вперед тем, кто хочет отдать себя в руки новой церкви, никто из заключенных, невзирая на всеильный коричневый мундир представителя господя-бога на земле, не двинулся с места. Он повторил свое предложение в форме недвусмысленной угрозы, но и тогда ему ответили все общим молчанием.

Поп в мундире удалился и предоставил «живодеру» ознакомить нас с новогерманскими формами христианской любви.

Неудача попа наци стала злобою дня. Охранники не могли оставить на себе такое пятно. В

последующие дни шпики пустили слух о том, что после воскресного богослужения будут раздавать табак. И действительно, несколько любопытных, явившихся на проповедь, вернулись с пачкой табаку грубой крошки. Это подействовало. К следующему богослужению двести верующих пришли слушать слово божие: протестанты, католики и атеисты. Германскому христианину оказалась не по плечу такая волна религиозного пыла, он вынужден был раздать вместо табака яблоки и орехи, спешно доставленные из дому. По одному ореху или по пол-яблока на заключенного. По возвращении «богомольцы» были встречены градом издевок и насмешек. Целую неделю они служили мишенью для шуток, и когда в следующее воскресенье весь приход собрался перед санитарным пунктом, этим достойным местом религиозных назиданий, то оказалось, что число верующих растаяло до двадцати.

Дело кончилось тем, что между католическим и протестантским священниками возникла ожесточенная и упорная борьба за души заключенных.

Его преподобие Циммерманн как личность был, пожалуй, несколько выше национал-социалиста Келера. Но Келер с лихвой возмещал отсутствие ума всем «авторитетом» администрации лагеря, охранных отрядов и государственного епископа Мюллера.

Со своей стороны католическая церковь поняла во время этого состязания, как благотворно действует табак на религиозные чувства, и успешно компенсировала свой политический промах лучшим качеством табака тонкой крошки, из которого можно было крутить папиросы.

Бертольд Брехт

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Пусть христиане прытче
Прячут библейские притчи,
Не то — мордобой, острог!
Топчи христиан сапогами!
Идет пред иными богами
Их мирный еврейский бог.

Кухня, она же спальня, в рыбацкой семье.
Рыбак лежит при смерти. Подле него — жена
и сын в форме штурмовика.

Тут же пастор.

Умирающий. Скажите, правда после смерти что-то будет?

Пастор. Неужто вы сомневаетесь?

Жена. Последние дни он все твердил: столько всякого рассказывают и обещают, — не знаешь, чему и верить. Не сердитесь на него за это, господин пастор.

Пастор. После смерти будет жизнь вечная.

Умирающий. И она будет лучше?

Пастор. Да.

Умирающий. Не мешало бы.

Жена. Он столько настрадался, знаете.

Пастор. Поверьте мне, господь знает об этом.

Умирающий. Вы думаете? (Помолчав.)
Хоть рот-то раскрыть можно будет на небесах, а?

Пастор (немного смутившись). В писании сказано: вера и горы сдвигает. Веруйте. Вам будет легче.

Жена. Не думайте, господин пастор, что он неверующий. Он всегда ходил к причастию. (Обращаясь к мужу (настойчиво)). Господин пастор думает, что ты неверующий. А ты ведь веруешь, правда?

Умирающий. Да...

Молчание.

Умирающий (озирается, взгляд его падает на сына). А им теперь лучше будет?

Пастор. Вы хотите сказать — молодежи? Будем надеяться, что да.

Умирающий. Будь у нас моторный катер!

Жена. Не беспокойся ни о чем.

Пастор. Вам теперь не следует думать о таких вещах.

Умирающий. Приходится.

Жена. Мы как-нибудь пробьемся.

Умирающий. А вдруг — война?

Жена. Перестань говорить об этом. (К пастору). Последнее время они все с сыном толковали о войне. Никак не могли поладить.

Пастор смотрит на сына.

Умирающий. Скажите, а тот, на небесах, хочет, чтобы была война?

Пастор (нерешительно). Сказано — блаженны миротворцы.

Умирающий. А если будет война...

Сын. Фюрер не хочет войны.

Умирающий (*решительным жестом отмахивается от этого*). Значит, если будет война...

Сын хочет возразить.

Жена. Молчи.

Умирающий (*пастору, указывая на сына*). Скажите ему про миротворцев...

Пастор. Все мы в руке божией, помните это.

Умирающий. Вы сами знаете — все они обманщики. Я себе для лодки не могу купить мотор. А они на самолеты ставят моторы. Для войны, для бойни. А я не могу рыбачить в бурную погоду, потому что у меня нет мотора. Подлые обманщики, все у них для войны.

Падает в изнеможении

Жена испуганно бежит за водой, тряпкой вытирает ему пот). Не слушайте его, он уже сам не знает, что говорит.

Пастор. Успокойтесь, господин Клаазек.

Умирающий. Вы ему скажете про миротворцев?

Пастор (*змявшись*). Он и сам может прочесть. Это из нагорной проповеди.

Умирающий. Он говорит — это сказал еврей, и это вздор.

Жена (*ср-сив боязливый взгляд на сына*). Смотри, накличешь ты на господина пастора беду, Ганнес...

Сын молча выходит из комнаты. Пастор испуганно глядит ему вслед.

Жена (*обращаясь к мужу*). Зачем тебе понадобилось спрашивать?

Арнольд Цвейг

СПОР ОБ УНТЕРЕ ГРИШЕ

(Глава 5)

«ДОБРЫЙ СОВЕТ»

— Господь охранит меня, — серьезно сказал Гриша. Он лежал, с наслаждением вытянувшись на широких деревянных нарах, среди раскиданных одеял, и вовсе не похож был на человека, которого станет охранять господь.

Это рассмешило Бабку. Смыв копоть и гарь с загорелого лица и со лба, резкие морщины на котором все еще не разгладились, она весело поглядывала на этого человека, ради которого она опять превратилась на время в молодую, крепкую девку в рубашке и нижней юбке, с босыми грязными ногами и упругими грудями под холстом рубашки.

А старившие ее седые волосы теперь длинными тонкими косами спускались вдоль щек. С папирской в зубах, закинув руки за голову, она сидела на краю постели и смеялась над Гришей.

— Бог тебе поможет? Олух-солдат! А богу кто поможет?

Блиндаж, зарывшийся тыльной стороной в песчаный холм и закрытый спереди березами и буками, которые более двух столетий закалялись на просторе в осенних и весенних бурях,

казалось, пригибался под шумными потоками ливня. В левом углу, сквозь протекавший толь крыши, капала в ведро желтоватая вода. Омываемое проливным дождем узкое и длинное оконце временами совершенно не пропускало света; прежде, чем ему привелось освещать баб-кино жильё, оно стояло в клозете помещичьего дома.

— А зачем помогать богу, хозяйка? спросил Гриша, с той же непоколебимой серьёзностью. Он помолодел на добрых пять лет. Сняв бороду, он как бы обрел вновь тот облик, какой был у него до плена; под его глазами уже не было этих складок, говоривших о безнадежности и отчаянии, скулы уже не выступали под кожей.

— Потому что с бога уже давно взятки гладки, олух-солдат,— продолжала она свои поучения, пристально глядя в левый угол окопа, где дождевые капли равномерно стучали о ведро.— Потому что чорт загнал бога-отца, вместе с сыном, в козий хлев, а святой дух торчит на голубятне. А на их красных мягких креслах в небесном чертоге прохлаждается чорт в грязных сапожищах. Разве чорту когда-нибудь была такая благодать? И слепому видно, что теперь сила в нем, а не в господе-боге.

Гриша наморщил лоб.

— Ты, значит, в чорта веришь, а не в бога? А еще крещеная, и имя у тебя святое — Анна! Как же так, Анна Кирилловна, а?..

— Все это пустое! Разве чорту надо, чтобы в него верили? Он, знай, делает себе свое дело и не мешает тебе делать твое, а веришь ты либо не веришь — ему наплевать! Немцы — они разве верят в чорта? А вот служат чорту и нагай-

кой и кулаком. Немцы, надо тебе знать, каждое воскресенье ходят в церковь, к господу богу, каяться — верить-то они ни во что не верят. Покаются, и идут себе своим путем, и делают, что им нужно. А остальные? В нашем краю и русские верят, и евреи верят, и литовцы, и поляки верят — все верят в бсга, а что толку? Уже четвертый год их немец под сапогом держит. Немец забирает деньги, семена, последнюю корову, полицейские на каждом шагу тычут тебя в задницу и на допросах истязают нагайками или прикладами... И после всего этого тебе суют в нос расписку с печатью — все, мол, в порядке, и эту бумажку ты хоть клади себе в молитвенник, олух-солдат, хоть делай с ней, что хочешь. А немец думает, что с этой бумажкой он всё делает по праву да по справедливости. Нет, миленок, — яростно закончила она, — довольно меня мучили бумажками, довольно жандармы надо мной издевались! Мне жилось, как и всем землякам моим, пожалуй, даже чуть похуже, сам понимаешь, — даром, что ли, у меня в двадцать четыре года этакая пакля на голове? Вся я серая, сивая, словно кошка ночью. Но когда я смекнула, что тут творится, то уж тогда пошло по-другому: не я дрожу перед жандармами, а они передо мной! Темной ночью они близко подступиться не смеют — разве что днем, и то только вдвоем или втроем. И с тех пор мне живется привольно. Хотя какое уж там приволье, когда бога загнали в козий хлев, а всем заправляют немцы!

Гриша задумчиво прислушивается к грозному шуму апрельской бури, гудящей в верхушках деревьев: с треском ломаются ветви — завтрашнее топливо, ливень то глухо барабанит, то

звонко плещет — это весна смывает снег с морщинистого лица доброй старой земли. Ему почти страшно в этом маленьком, довольно опрятном и тщательно обшитом тесом помещении — не то окопе, не то бараке, — сооруженном из остатков той старой артиллерийской позиции, где обитает дикая кошка, как называл мысленно рысь Гриша.

Он предпочел бы вместо того, чтобы слушать такие речи и отвечать на них, перейти в большое общее спальное помещение, в котором он жил в первые дни вместе со всеми остальными, прежде чем стал любовником атаманши. Конечно, он даже и в мыслях не имел отказаться от Анны, от Бабки! После стольких лет он впервые держал в своих объятиях женщину — и какую! Все ее мысли о нем были добрые, материнские мысли. Уже много месяцев, годы не было вокруг него такой дружеской, такой бодрящей ласки. От нее исходило тепло, как от печки, это была сердечная теплота, и это делало его вновь счастливым, и сильным, и обновленным... Но то, что она здесь болтает, — богохульные речи, — страшно слышать это от женщины.

Бабка как бы отгадала его мысли.

— Что, небось, страшно слышать это от женщины, олух-солдат? А ты знаешь ли, что такое лес? Над землей деревья стоят спокойно и чинно, одно возле другого, а побывай они у немцев в руках, то стояли бы даже навтыжку, «равнение нале-во!»... А вот внизу, Гриша, корни — много, много корней, — и все они цепляются друг за дружку. Перепутаны, как комки шерсти, и пожирают они друг друга, ежеминутно душат, как злобные змеи. Вот соскобли немного лопатой землю, по которой мы ходим вме-

сте со зверями, тут тебе и будет это месиво, корни, корни! На много-много верст тянутся они. И будь у них голос, день и ночь стонали бы они и кряхтели, как люди, которые тянут на себе железнодорожные рельсы. Они бы выли, как, вон, верхушки, когда ветер балуется с ними, как мужчина с девчонкой.

Нет, миляга, не бог сотворил этот мир! Это все попы расписывают да сврзи читают в своей библии. «Вначале бог сотворил небо и землю», может быть... Посмотришь, бывало, земля — красивая, и чувствуешь ее красоту. Солнце светит, лежишь в лесу, молодые ветки выросли, голова кружится от запаха. И белочки наверху, в ветвях, и вороны летают по воздуху. Хорошо бывает на земле, уж чего лучше! Да только бог не довел дело до конца — не навел он порядка на земле и в небесах. Верь моему слову, кто-то стал ему поперек дороги и нагнал такого страха на людей, что у них глаза на лоб полезли, и с тех пор все они ходят, как отравленные. Думать я не умею,— закончила она, притушив папирску о край стола, и бросила окурок в угол, ее голые руки двигались с какой-то совершенно произвольной звериной грацией,— но видеть— это я могу!

Гриша, продолжая лежать, задумчиво уставился в потолок, в трещинах которого зазимовали длинноногие пауки. Большой паук, обеспокоенный дождем, осторожно пробирался по потолку, и его тело, этот комок живой ткани, покачивалось на восьми скрюченных ножках.

— Да,— сказал Гриша,— посмотри только: на портретах цари, короли, генералы — газеты только ими и полны! Красоты в них не сыщешь, да и благословения божьего что-то на них

не видать. Я вот в немецкой газете видал лицо ихнего Шиффенцана. Точь в точь черепаха с птичьим клювом,— Гриша засмеялся,— зато он выиграл три больших сражения. А здесь, в этих краях, он полный хозяин, так все германские солдаты говорят.

Бабка рассеянно посмотрела в угол, где над красной лампадкой висела икона богородицы, украшенная еловыми ветками.

— Я расскажу тебе все, как было,— начала она вслух, как бы продолжая промелькнувшую в ее голове мысль.

— Нас было пятеро. Отец был уже старый, но еще ничего, ходил за сохой. Детей — два мальчика и я. И еще у нас два брата в Америке, они помогали, когда нам становилось туго. Хорошие работники.

Один, знаешь ли, работает на паровом плуге, а другой в городе Чикаго свиней бьет. Много тысяч свиней каждый день, каждую свинью — одним ударом. Обоим живется хорошо. А у нас была хата и пашня, и поле под картофелем, и садик, и все, как полагается; так-то, солдат.

Потом началась война, мимо все шли наши войска, а скоро поблизости показались немцы; наши устроили окопы как раз напротив нашей хаты, и мы ушли, но не очень далеко. После, не прошло и недели, вернулись домой, и все пошло попрежнему. Окоп нашим не понадобился, и хата тоже уцелела, немец-то, оказывается, нагрязнул с другого конца, они на это мастера.

И стали мы жить. Смотрим — начали приходить разные приказы, распоряжения. Этого нельзя и того нельзя! Запрещено! А то-то и то-то выполнить согласно приказу! Ну и смеху было! Мы думали: как бы не так!

Ведь мы русские подданные, хоть и литовцы. И вдруг приказ: сдать все оружие, до последнего ружьишка... Понимаешь? Зайцу в капусте и козам в посевах — привольную жизнь, а мужику — убытки. Одним словом, отдавай, мужичок, ружье. Отец завернул ружье в холстину, спрятал его под стропилами и говорит: «Ну, и бес с ним, с приказом!»

Потом они пришли с печатным приказом, на нашем, литовском, языке. Деревенский староста перевел нам: «Тот, у кого есть ружье, обязан его сдать, а кто не сдаст — будет расстрелян».

Слыханное ли дело, — подумали мы, — ружье отдать? А кто даст нам другое? А чтобы расстреляли за то, что у тебя ружье, так этому никто не поверит. Разве это злодейство какое, иметь ружье?

Поблизости от нас жил польский помещик, — она усмехнулась, глаза ее сузились, нижняя челюсть выдвинулась вперед в злобном оскале. — Эти польские паны — угодливый народ. Ты думаешь, они откажут тебе в чем-нибудь? Упаси боже, братец! Они все тебе пообещают, да еще поклянутся, что сохранят все вгаине. А как повстречают другого, они хотят угодить и ему и выкладывают все до нитки! И вот, у этого соседа, — его земля была рядом с нашей, — всегда был постой, жандармы останавливались у него, офицеры, жилось ему с ними неплохо. Этот-то помещик и знал о нашем ружье под стропилами.

«Ладно, — сказал старик-отец, — на бога надейся, а сам не плошай! Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами!» — Он говорил еще разные другие прибаутки, у стариков это, как из коры смола.

И вот однажды — мы как раз стряпали обед — является староста, с лица серый, надо тебе сказать, серый, как грязный снег, с ним молодой лейтенант и шестеро солдат. Обыскали хату и, конечно, нашли доллары, что братья из Америки прислали, и ружье. Доллары они вернули мне, а ружье забрали с собою, увели отца и обоих парнишек — восемнадцать одному, другому шестнадцать — сущие дети, скажу я тебе.

Через пару недель их привели обратно.

«Анна, — сказал отец, — он не обнял меня, а только посмотрел в глаза, — они нас сейчас будут расстреливать, меня, Стефана и Федсра, за то, что у нас было ружье. Прощай, стань на колени, я благословлю тебя, поезжай в Америку, к Петру и Николаю».

Знаешь, я не вскрикнула, мне уж было двадцать два года. Не хорошо ведь кричать при посторонних.

Они поставили их у стрелкового окопа, у самой нашей хаты, и там расстреляли, и они упали навзничь в окоп, лицом к нашей хате. Их расстреляли там, чтобы нагнать страху на крестьян. Немцы и впрямь получили много ружей и взыскали штраф. Вот тогда и стали мои волосы такими, как ты их видишь теперь, а моя мать — та совсем сошла с ума. Каждый день она готовила для тех, что лежали в стрелковом окопе, у самой хаты. Они по своей охоте перебрались туда, только и всего, говорила мать. Отец и братья — хозяева в доме и делают, что им вздумается! Голова у старухи, знаешь ли, не такая была крепкая, как у нас с тобой. Каждое утро, до самой своей смерти, она варила для них суп из щепок и относила им обед, — тем, что лежали в окопе, рядом с нами.

А потом я, как водится, похоронила мать на кладбище, сдала в аренду нашу усадьбу и, конечно, позаботилась освятить землю, где лежали мужчины — старик и оба мальчика. Обвела я это место, как подобает, оградой и поставила, по нашему литовскому обычаю, крест с лилией. Ну, а там, за день до моего отъезда, кто-то выстрелил в окно помещичьего дома и угодил пану прямо в лоб. Ловкий был выстрел, скажу я тебе. И я ушла в леса...

Сумерки наступили рано. Поток за потоком струились, бушующая у маленького оконца, воды надвигавшейся весны, и от тонкой струи воздуха, проникавшей через единственную наружную стену барака, трепетал перед иконой, отбрасывавшей тень, огонек.

— Да, — задумчиво сказал Гриша, — война — дело не шуточное. Раз началась, она уже свое берет. Была и у нас стрельба — вспоминать тошно. Все солдаты — на один лад, да и офицеры тоже. Только что у немцев мозги разгорожены на квадратики, один возле другого... Если они поймут меня... — слышно было, как он, глубоко вздохнув, задержал дыхание.

Бабка спокойно сказала: — Подвинься! — и легла рядом с ним на широкие нары, как ложится жена возле мужа.

— Вот настанет лето... хорошо будет в лесу. Теплынь, Гриша, в тенечке... полно черники, работа легкая, кругом свои, товарищи.

Она замолчала, уставившись в потолок, напряженным ожиданием наполнилось сердце.

— Невелика хитрость остаться здесь, не для этого я от немцев бегал.

Молодая женщина выдвинула вперед нижнюю челюсть:

— Что ж, беги дальше, сейчас же беги! Ну!

Побледнев от ужаса, она чувствовала, что обрывается что-то, что она взлелеяла в своей душе. Гриша крепко охватил ее шею. И в сгущающихся сумерках прозвучала его спокойная решимость:

— Ты думаешь, мне не любо было бы остаться здесь, с тобой, Аня? Ведь ты вернула покой моей душе, до глубины ты меня проняла, все с тобой забыл — и страх, и плен. Ты сама знаешь, что не пустое это. Я сам был бы последней собакой, ежели бы считал, что это пустяки. Но тянет меня, ох, как тянет... Все во мне рвется домой! И вот... не могу я остаться с тобой, Анна.

Его голос звучал просительно и жалко, словно голос ребенка, несмотря на твердую решимость и непреклонное сознание долга.

— Я уйду не сейчас, если не прогонишь меня. Почему бы мне не пожить с тобой и ребятами еще с месяц? Почему не помочь, раз я вам нужен? А потом — уйду, за мной будут охотиться жандармы, придется прятаться и среди бела дня... А если они вдруг поймают меня?

Внезапно эта возможность со все побеждающей силой заполнила его настороженные мысли. Бабка, с потемневшим лицом, молчала. Она все еще пристально смотрела в пустой угол, туда, где сплетение причудливых теней как бы напоминало о разбитой надежде.

«Он не останется! А если уйдет, разве он возьмет меня с собой?» — размышляла она.

— ...И придется, может быть, — говорил он — еще много лет после заключения мира работать на них... Возить землю на тачке, либо выдергивать колючую проволоку, или пилить дрова, томиться в их каменных тюрьмах. Лучше

уже тогда сразу: либо пулю в спину, либо про-
рваться через штыки жандармов.

Он выдыхал воздух звуком, похожим на стон. По тому глубокому состраданию, которое охватило ее в это мгновение, Бабка поняла всю безнадежную глубину ее чувства к этому взрослому ребенку, который так пришелся ей по душе еще тогда, когда она сидела у его костра, к этому Иванушке-дурачку, который среди дремучего леса пытался обойтись самострелом и ножичком. Жалостливый смех зазвучал в ее груди. Она вскинула руки на его шею, ласково укусила его за ухо. Ее дыхание отдавало теплым хлебом.

— Ладно, ступай себе, уж я тебе помогу, олух-солдат!

Опершись на локти, Гриша недоверчиво смотрел в ее зажатое между его ладонями лицо со светившимся горечью взглядом. Но она продолжала говорить:

— Зачем тебе всякому выкладывать, кто ты такой? Мало, что ли, нынче прет через позиции дезертиров, солдат, которым надоела война и которые хотят домой, как и ты, к жене и детям? Только и разницы, что их деревни тут поблизости, у фронта, а твоя — далеко, в самой России... У меня в бараке спрятаны штаны и мундир одного моего земляка, Ильи Павловича Бьюшева, он жил тут с нами и тут же помер. Никак не удалось поставить его на ноги. Но его номерок — ведь вы все носите на шее номерки — лежит в ящике стола. Если тебе не повезет и схватят тебя, ты скажешь, что ты Илья Павлович Бьюшев из Антоколя, 67-го стрелкового полка, пятой роты, идешь, мол, домой, повидаться с матерью. Идешь с позиций, дезертир. И все

будет ладно. На худой конец опять запрячут тебя в лагерь, станут наводить справки. А до тех пор я уж дам знать старухе, Наталье Бьюшевой, — она скажет все, как нам нужно. Какоево, олух-солдат?

Улыбка на круглом лице Гриши становится все шире, страдальческие тени и морщины исчезают. От неопишуемого удивления его раскосые глаза слегка прищуриваются и вновь широко открываются.

— О, не так хитер чорт, как его Бабка! Да и чортова бабка — дура выходит против моей зазнобы.

Он засмеялся и, как хищная птица, впился в рот, который умел изрекать такие мудрые советы и так безвольно и охотно отдавался ему.

Сумерки потонули в шумных потоках ливня. Красный отблеск лампадки падал на блестящую позолоту и венчик образа святой девы, ложась на икону кровавыми искрами.